



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
как
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОН

Москва
1996

Институт славяноведения и балканистики РАН

Институт "Открытое общество"

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

как

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОН

Ответственный редактор
А.И.Миллер

Москва
1996

Этот сборник подготовлен по результатам семинара "Центральная Европа как исторический регион", состоявшегося в апреле 1995 в Москве на средства Фонда Сороса.

Книга включает обзорные статьи, охватывающие все основные исторические периоды развития региона. Из-за ограниченности объема исключение сделано только для "длинного девятнадцатого века". В этом случае мы отсылаем читателя к двум изданным на русском книгам - "Освободительные движения народов Австрийской империи" Т.1,2 (ред. В.И.Фрейдзон, М. 1980, 1981) и "Австро-Венгрия: опыт многонационального государства"(ред. Т.М.Исламов, А.И.Миллер, М., 1995).

В сборник включен также перевод эссе венгерского историка Ено Сюча "Три исторических региона Европы". Эта работа, впервые опубликованная в 1982 г., получила широкое признание, была переведена на все основные европейские языки и по праву считается сегодня классической.

Книга издана при финансовой поддержке Института "Открытое общество".

ISBN 5-7576-0021-7

© Составление А.И.Миллер

© Коллектив авторов

Содержание.

<i>Миллер А.И.</i> Об истории концепции "Центральная Европа" 4-25
<i>Флоря Б.Н.</i> Центральная Европа в Европе средневековья 26-48
<i>Исламов Т.М.</i> Средняя Европа на начальном этапе модернизации 49-72
<i>Миллер А.И.</i> Авторитарный и тоталитарный опыт Центральной Европы 73-90
<i>Кандель П.Е.</i> "Посттоталитарность" как теоретическая проблема и региональная характеристика 91-114
<i>Чубарьян А.О.</i> Россия и Центральная Европа. 115-127
<i>Роксандич Д.</i> "Европа граждан", Средняя Европа и границы Европы 128-136
<i>Пето А.</i> Преподавание истории Центральной Европы. 137-146
*	
<i>Сюч Е.</i> Три исторических региона Европы 147-265

Алексей Миллер

Институт славяноведения и балканистики РАН

Центрально-Европейский Университет

Об истории концепции " Центральная Европа "

В послевоенные десятилетия блокового противостояния деление Европы на Восточную и Западную, иными словами на социалистический лагерь и все остальное, во многом затеняло нюансы региональной специфики. После крушения ялтинской системы проблема регионов вновь обрела актуальность. При обсуждении регионального членения континента, пожалуй, больше всего разногласий и дискуссий вызывает дефиниция Центральная или, как некоторые предпочитают говорить, Восточно-Центральная Европа. (Термин Восточно-Центральная Европа (East-Central Europe) указывает на то, что до определенного исторического периода к Центральной Европе принадлежали еще не собранные в единое государство и страдавшие от относительной экономической отсталости германские земли.) Эти разногласия касаются не только названия региона, его границ и характеристик, но самой целесообразности выделения Центральной Европы как особого региона.

Природа этих противоречий может быть различной. Во многом она зависит от длительности того исторического времени, которым оперируют отдельные авторы, и от фокуса их внимания. С точки зрения историка изменчивость границ того или иного региона,

если они не заданы жестко географическими факторами, равно как и изменчивость его характеристик выглядят вполне естественно. Важно, что регион обладает определенной исторически обусловленной устойчивой спецификой, которая проявляется на всех уровнях - политическом, социальном, культурном, и типологически отличает общества, принадлежащие региону, от соседей. В каждом хронологическом срезе эта специфика может меняться, но она, повторюсь, исторически обусловлена. Для историка главный фактор - социокультурная близость, то есть сходство социальных и властных структур и путей их эволюции, сходство культурной традиции и менталитета. С этой точки зрения вторично, насколько эта общность осознается жителями региона и насколько она отражается в способности стран региона к совместному политическому действию и созданию региональных структур. То есть более важен регион "в себе", как объективное явление (включая сюда культуру и ментальность), чем регион "для себя", как политический субъект, которого в строгом смысле в случае Центральной Европы никогда не существовало.¹

Иначе обстоит дело в рамках современного политико-идеологического дискурса, озабоченного конструированием злободневных доктрин и смыслов, и использующего историю как аргумент "к случаю". Здесь споры о границах региона, его прошлом и будущем отражают определенные политические ориентации, и применительно к ним правомерна постановка вопроса: кому это выгодно и почему?

Противопоставляя перспективу историка и политолога, я вовсе не хочу сказать, что историк вполне свободен от современного

ему политического дискурса, а только лишь, что степень его зависимости качественно меньше. Сегодня историки согласны в том, что мы можем выявить специфику Центральной Европы по крайней мере с XVI в., когда, кстати, никто еще не озаботился придумыванием соответствующего термина и концепции. Эта проявленная в истории социокультурная специфика региона - предмет для научного анализа. Для определенных исторических эпох понятие "Центральная Европа" может быть использовано как свободное от идеологической нагрузки, хотя родилось оно как политическая идея. Важно только с самого начала условиться, что возможное неприятие тех или иных политических импликаций современных "изданий" концепции Центральной Европы не должно вести само по себе к отказу от понятия как такового.

Впервые понятие Центральная Европа или близкие к нему, например, Средняя Европа, начинают употребляться в 40-е годы XIX в. В 1842 г. немецкий экономист Фридрих Лист писал о "среднеевропейской экономической общности", постулируя необходимость немецкой экономической экспансии, а монархию Габсбургов рассматривая как аграрный придаток индустриальной Германии. Идея германской доминации, как экономической, так и политической, на обширном пространстве в центре континента разрабатывалась позднее Фридрихом Науманном в его книге "Das Mitteleuropa".² Впоследствии концепцию Средней Европы пытались приспособить к своим целям нацисты. Можно сказать, что в немецких концепциях Центральной Европы неизменно, хотя и в весьма различных в зависимости от обстоятельств дозах, присутствовала идея гегемонии. В то же время было бы несправедливо

демонизировать то, что писали немцы на тему Центральной Европы в XIX и начале XX в. В немалой степени эти концепции отражали реальный вклад немцев в экономическое и культурное развитие региона, ведь немецкая диаспора Центральной Европы была весьма многочисленна. Достаточно сказать, что изгнание немцев из стран региона после второй мировой войны затронуло от 9 до 10 миллионов человек.

В России "немецкой редакции" концепции Центральной Европы как пространства для германской культурной, экономической и политической экспансии противопоставлялась концепция славянского мира. Именно с 40-х годов XIX в. получают развитие различные варианты панславизма. В своем внимании к славянскому фактору Россия была не одинока, причем не только в XIX в. Можно сказать, что чем сильнее ощущалась германская угроза, и чем дальше была Россия, тем больше симпатий к "славянским идеям" разного рода возникало у славян Центральной Европы. У поляков, немало от России пострадавших, они были слабее, особенно со второй половины XIX века. Однако и польские мыслители порой пытались "спасти" идею славянской общности, исключая Россию из славянского мира. У чехов, а в особенности у словаков панславистские концепции находили больший отклик.

В рамках идей славянской общности понятию Центральной Европы как особого региона нет места. Региональный принцип заменяется пан-этническим, неславянская часть региона отсекается, а вместо этого присоединяются славяне юго-востока и востока Европы.

В самой Центральной Европе первые попытки определить специфику региона были сделаны в бурном 1848 г. В апреле 1848

лидер чешского национального движения Франтишек Палацкий писал: "Вдоль границ Российской империи живет много народов - славяне, румыны, венгры, немцы. Никто из них в отдельности не имеет достаточно сил, чтобы сопротивляться могущественному восточному соседу. Они могут это сделать, только будучи тесно и прочно объединенными." Он видел реформированную Австрию как форму такого объединения. Заметим - венгры, немцы, румыны, то есть Палацкий мыслил в данном случае согласно региональному, а не расовому принципу. Немцы присутствуют в этом перечне постольку, поскольку они не объединены в мощное государство. Уже тогда, говоря о немцах, Палацкий однозначно имел в виду не Пруссию, но австрийских немцев и немецкую диаспору Центральной Европы. В сентябре 1848 г. поляк Адам Чарторыский совместно с венгром Ласло Телеки разработали проект дунайской конфедерации. К этим планам позднее возвращались многие, в том числе и Лайош Кошут. Можно сказать, что в течение длительного времени славянская и центральноевропейская идеи конкурируют в умах славян этой части Европы, с тем что последняя все же преобладала.

Таким образом в самой Центральной Европе концепция личности этого региона с самого начала включала в себя два политических мотива - объединительный и изоляционистский. С одной стороны, она с переменным успехом выполняла интегрирующую роль по отношению к народам региона, подчеркивая общность их судеб и необходимость солидарности. С другой - в основе этого императива лежала защита прежде всего от России, часто от России и Германии. "Сдавленность" между Россией и Германией становится основным мотивом концепции Центральной

Европы в самом регионе. Именно объединение Германии исключает ее из Центральной Европы как национальное государство и одновременно мощную европейскую державу.

Впрочем, концепция Центральной Европы нередко использовалась как инструмент изоляции и ранжирования и в отношениях между "малыми" народами этой части Европы. Согласно известной шутке, восточная граница региона проходит, по мнению каждого народа, по его границе с восточным соседом.

До сих пор наиболее часто встречается определение Центральной Европы как пространства между Россией и Германией. Однако вполне удовлетворить оно не может, потому что работает только для части XIX и XX в. Ведь до этого времени не было Германии, теперь нет России в прежнем понимании. Также неверно определять Центральную Европу, как делают некоторые, по языковому признаку - между ареалом немецкого и итальянского на западе и русского на востоке, поскольку с XVI века Австрия принадлежит Центральной Европе, а немецкий был *lingua franca* региона. Это свидетельствует, что определение региона должно основываться на его сущностных характеристиках. В определенном смысле этот сборник можно считать совместной попыткой определения этих характерных черт.

В межвоенный период концепция из сугубо политической начинает становиться научной, хотя очень постепенно, так что окончательного разделения не произошло до сих пор. Историки новых независимых государств, возникших в Центральной Европе после первой мировой войны, боролись за новое место в истории для своих стран. Поначалу их усилия характеризуются разнобразием

концепций и подходов. Уже на 5 и 6 всемирных конгрессах историков (Брюссель, 1923 и Осло, 1928) поляк Оскар Халецкий ставит вопрос о цивилизационных различиях между западной и восточной частями того пространства, которое принято было называть Восточной Европой, и которое включало все страны восточнее Германии. Об этих проблемах говорят также Марцелий Хандельсман, Ян Рутковский. Последний на конгрессе в Осло делает доклад под названием "Генезис барщины в Центральной Европе", к которой он относит часть Германии, Польшу, Чехословакию и Венгрию. То есть он уже близок к современному пониманию, хотя в силу специфики его предмета у него выпадают Австрия, Хорватия и еще кое-что "по мелочи".

7 конгресс проходил в Варшаве в 1933 г. Впервые была организована специальная секция Восточной Европы, охватывавшая всю Европу к востоку от Германии. Идея Центральной Европы была еще далеко не общепринятой среди историков. Но собственно центральноевропейская проблематика была представлена широко. На "Восточную Европу" уже смотрели достаточно пристально для того, чтобы увидеть ее неоднородность.

В 1927 году по инициативе Хандельсмана была создана Федерация исторических обществ Восточной Европы. В 1928 г. вышел первый номер информационного бюллетеня Федерации. Важно, что историческая наука региона обрела хорошо слышимый собственный голос, ведь до того времени западный научный мир узнавал историю этого региона в основном из немецких книг.

В работе Федерации участвовали русские: пражские эмигранты Антон Флоровский (член Исполкома) и Николай Окунев

(один из редакторов бюллетеня). Единственным советским автором, опубликовавшим в бюллетене обзор белорусской советской историографии, был Владимир Пичета, будущий академик и один из основателей школы изучения Центральной и Восточной Европы в Советской России.

В основе деятельности Федерации лежало сотрудничество историков Польши, Чехословакии и Венгрии, что было особенно показательным на фоне острых политических противоречий между этими странами в межвоенный период. Однако споров и разногласий было немало и в среде ученых. Часто проблемы региона историки видели сквозь национальную призму. Дискуссия между венграми (И.Лукинич), чехами (Я. Бидло), поляками (М.Хандельсман) шла о границах региона, о том, что считать главными особенностями или организующими принципами в истории этой группы стран. Не без сопротивления чехов было достигнуто согласие об отходе от славянского принципа. Однако национальность историков явно накладывала отпечаток на их концепции. Так, Хандельсман, например, совершенно, на мой взгляд, без оснований, утверждал, что Речь Посполитая находилась в центре региона и ее история может служить как организующий принцип для истории всей Центральной Европы. Венгры были склонны подчеркивать роль Дуная как интегрирующей оси.

Деятельность Федерации постепенно замирает во второй половине 30-х годов. Но в 1935 г. под редакцией И.Лукинича начинает выходить журнал "Archivum Europae Centro-Orientalis". Здесь можно увидеть начало тенденции, которая станет доминирующей в послевоенный период в англо-саксонской

историографии - вести речь о Восточной части Центральной Европы, имея ввиду, что у западной, германской части особая судьба.

Так или иначе, но термин постепенно вступал в права. О.Халецкий пишет статью под названием "Центральная Европа" для Энциклопедии политических наук, изданной в Варшаве в 1937 г. Он ссылается, в частности, на Науманна, а также на книги Й.Партча и Ж.Ансея.³

После начала второй мировой войны ситуация резко меняется. Многие видные ученые из Центральной Европы эмигрируют в США и Англию. Хорошо известна роль немецких эмигрантов в развитии гуманитарных наук в англо-саксонском мире - достаточно назвать имена Карла Дойча, Карла Мангейма. Но и ученые других национальностей оказали большое влияние, может быть наиболее заметное именно в исторической науке.

О.Халецкий с 1940 г. в Нью-Йорке, где публикует в 1943 г. статью под названием "Восточная часть Центральной Европы в послевоенном устройстве", а в 1944 статью "Историческая роль Центрально-Восточной Европы".⁴ В 1950 г. вышла его книга "Пределы и разграничения европейской истории", в которой Халецкий дал наиболее полное изложение своих взглядов.⁵ Здесь он проводил деление на западную часть Центральной Европы (West Central Europe), имея в виду Германию, и восточную часть Центральной Европы (East Central Europe), обозначая так пространство между Германией и Россией.

Проблемы Австро-Венгрии, границы которой в новое время практически совпадали с границами Центральной Европы как и ее

понимаю, изучались в США целым рядом ученых-эмигрантов из этой части Европы.

Наиболее заметную роль среди них сыграли Роберт А. Канн, Ханс Кон и Оскар Яси.⁶ Во многом благодаря их усилиям, но также и в связи с атмосферой холодной войны, история Центральной Европы превратилась на Западе в самостоятельную, институционализированную и динамично развивавшуюся отрасль научной индустрии. Начиная с 60-х годов выходит "Ежегодник австрийской истории" ("Austrian History Yearbook"), охватывающий все страны, которые полностью или частично входили в Габсбургскую монархию. Издает ежегодник Центр австрийских исследований Университета Миннесоты, который играет роль основного центра координации исторических исследований Центральной Европы в США.

В 1974 г. вышел первый том одиннадцатитомной истории восточной части Центральной Европы под общей редакцией П.Шугара и Д.Тредголда (P.F.Sugar & D.W.Treadgold). Но по сути это история Центральной и Юго-Восточной Европы, с включением Греции, Албании, Болгарии, и исключением Австрии. Не все авторы отдельных томов согласны с этой концепцией. Дж.Ротшильд в своем томе "Восточно-Центральная Европа между двумя мировыми войнами" исключает Грецию, лишь вскользь упоминает страны Прибалтики и весьма близок к современному пониманию Центральной Европы.⁷ Петр Вандыч в 1992 г. опубликовал книгу "Цена свободы. История Восточно-Центральной Европы от средневековья до современности", в которой рассматривает только Польшу, Венгрию и Чехословакию, считая их "ядром" Центральной

Европы.⁸ Думаю, что причина именно такого выбора - попытка сделать тему борьбы за свободу, в том числе и сопротивления коммунизму, лейтмотивом истории региона, а Австрия в такую версию истории плохо вписывается.

Таким образом, как научный термин Центральная или Восточно-Центральная Европа начинают все активнее употреблять в межвоенный период историки стран самого этого региона, а в послевоенный период он постепенно утверждается и в англо-саксонской историографии.

В странах региона под властью коммунистических режимов условия для развития историографии, с одной стороны, были неблагоприятны. С другой - придавали прошлому и писанию о прошлом особый статус.

Если славянский мотив специально подчеркивался во многом благодаря влиянию Москвы, то идея Центральной Европы приобретает явственно оппозиционное звучание. В послевоенные годы и в эмиграции, и в самих этих странах появляется ряд работ, заметно продвинувших концептуальное понимание проблемы Центральной Европы. В первую очередь нужно упомянуть имена венгра Иштвана Бибо, чеха Яна Паточки, поляка Чеслава Милоша, а также выходивший в Париже польский эмигрантский журнал "Культура" под редакцией Ежи Гедройца. Общий пафос их послания - народы Центральной Европы должны научиться жить в мире между собой и со своими соседями, включая и Россию, на новых основаниях. Хотя все они говорили о специфике региона, но акцента на изоляционизме от Востока у большинства из них не было.

В СССР в послевоенный период термин Центральная Европа в политическом лексиконе не существовал, а в историографии хотя и присутствовал, но никогда, пожалуй, не был вполне легитимным в условиях доминанции славяноведческого принципа. В университетах существуют кафедры истории южных и западных славян. В Академии наук - Институт славяноведения. В 1964 году он был преобразован в Институт славяноведения и балканистики (ИСБ) с включением венгерской и румынской проблематики, но причины этой реорганизации были вполне вненаучные. Австрия остается за рамками исследований ИСБ. Понятие Центральная Европа неизменно выступало как часть чего-то большего: практически во всех названиях публикаций ИСБ стоит Центральная и Юго-Восточная Европа. Тем не менее в 60-80-е годы было много сделано для изучения Центральной Европы как особого региона.⁹ В течение двух десятилетий в институте существовал отдел новой истории стран Центральной Европы. Но сегодня напрасно искать этот отдел в ИСБ - он переименован, затем разделен. Можно сказать, что сегодня в России изучение Центральной Европы совершенно не институционализировано. Традиционная с XIX в. славяноведческая ориентация сохраняется. Между тем очевидно, что такая оптика искажает историческую реальность региона, где не просто рядом, но вперемешку с поляками, чехами, словаками жили, составляя порой единый социальный организм, немцы, венгры, евреи.

В 1980-е годы дискуссия о Центральной Европе заметно активизируется. В научном плане этот период отмечен появлением наиболее известной, пожалуй, работы - эссе венгерского историка Ено

Сюча “Три исторических региона Европы”, переведенного на все основные европейские языки.¹⁰ (В нашей книге эссе, наконец, впервые публикуется по-русски.) После падения коммунистических режимов в странах региона появились научные центры и вузы, целиком или по преимуществу сконцентрированные на центральноевропейской проблематике, в частности международная ассоциация институтов Восточно-Центральной Европы с центром в Люблине и Центрально-Европейский университет, базирующийся в Будапеште, Праге и Варшаве. Два факультета Будапештского колледжа - исторический и медиэвистики - видят свою главную задачу в преподавании истории Центральной Европы. Политологический факультет (тоже в Будапеште) занимается проблемами современного развития региона. В Праге работает Центр по изучению национализма, созданный и до недавнего времени руководимый безвременно умершим Эрнестом Геллнером. Для этого центра центральноевропейская проблематика также является приоритетной. С 1995 г. в Варшаве начинает работу социологический факультет, для которого Центральная Европа также будет в фокусе внимания.¹¹

Но особенно интенсивно развивалась дискуссия политическая. Она была начата новым поколением публицистов-эмигрантов из стран региона, которым впервые удалось, во многом благодаря кризису социалистической системы, привлечь внимание западного общественного мнения к этой теме.¹² По мере ослабления цензурного контроля в конце 80-х годов тема Центральной Европы занимает почетное место и в печати стран региона.

Практически все западные наблюдатели, следящие за развитием современной политической дискуссии о Центральной

Европе, оценивают ее весьма скептически. Можно вполне согласиться с Тимоти Гартоном Эшем, написавшим: "Первое наблюдение об этой дискуссии состоит в том, что она в основном происходит на том уровне абстрактных, неопределенных и идеалистических обобщений, который делает рациональную и эмпирическую критику невозможной".¹³ Ему вторит Тони Джадт: "Центральная Европа превратилась в идеализированную Европу нашей культурной ностальгии... Но если спуститься обратно на землю, Центральная Европа остается весьма смутным (политическим) проектом."¹⁴ Айвер Нойман, исходящий из того, что идентичность это не данность, а *отношение*, постоянно формируемое и реформируемое в рамках определенного дискурса, весьма проницателен в своем наблюдении: "Причина, по которой участники дискуссии не могут прийти к согласию о том, какую часть исторического и социального ландшафта называть "Центральной Европой", состоит в том, что Центральная Европа просто создается в результате этой дискуссии".¹⁵ В своей статье с красноречивым названием "Россия как "конституирующий друг" для Центральной Европы" Нойман показывает, что Запад играет двойственную роль в современном "издании" концепция Центральной Европы как "иной" и одновременно "свой", в то время как Россия выступает в однозначной роли "чужого". Об этом направленном к востоку изоляционизме говорит, причем с резким осуждением, и Э.Хобсбаум.

Подавляющее большинство собственно центральноевропейских участников дискуссии воспринимает крах советской системы как новое рождение Центральной Европы из неволи соцлагеря, а ориентацию на объединение с Западом как

"возвращение домой". Схема эта во многом повторяет мотивы политической мысли прошлого века и охотно заимствуется теми политиками в новых государствах, которые по традиции хотят видеть восточную границу своей страны границей Европы. Неофиты излагают эти построения довольно безыскусно, но суть от этого не меняется и даже выступает более обнаженно. Прочитую для примера одного современного украинского автора: "Пусть художник нарисует обшарпанного, исхудалого, но большого и сильного европейца, выходящего из открытой железной клетки, рядом с которой лежит огромный поверженный варвар с монгольскими чертами"¹⁶.

Лишь немногие отвергают эту тенденцию. Например, Милан Симечка в споре с Миланом Кундерой напоминает о том, что "не Россия возвестила начало конца центральноевропейской традиции, а Гитлер", и призывает также задуматься об ответственности самих центральноевропейцев за то, что произошло в регионе в XX в.¹⁷

В высказывании Симечки привлекают внимание слова о начале конца центральноевропейской традиции. В целом XX век последовательно и безжалостно разрушал центральноевропейскую специфику, будь то этнокультурное многообразие или особенности социальной структуры. Во времена советского господства традиция еще давала о себе знать. Тоталитаризм натолкнулся здесь на более жесткое сопротивление - именно Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968 и неоднократно Польша оказались способны на открытые формы протеста, во многом предопределившие качественно меньшую степень советизации. В переломный момент конца 80-х - начала 90-х годов социокультурные границы региона в некоторых случаях оказались

едва ли не более значимыми, чем часто менявшиеся в XX в. государственные границы. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить роль Галичины в современном политическом развитии Украины или роль Трансильвании в румынских событиях конца 1989 г. Таким образом, говоря об историческом измерении, не следует попадать в плен современной политической карты - границы региона могут проходить и проходят внутри территорий современных государств - Украины, Румынии, Польши, до недавнего времени Югославии. Вообще, когда мы говорим о границах региона Центральной Европы, важно отдавать себе отчет в том, что речь идет не о линии на карте, подобно границам государств, но о пространстве пограничья. Более того, если учесть, что в разные исторические периоды регион испытывал мощные влияния и с востока, и с запада, равно как и сам оказывал такое влияние в обоих направлениях, можно с некоторой долей максимализма говорить о Центральной Европе в целом как о регионе пограничья.

Сегодня же, как это ни парадоксально, шансов на исчезновение Центральной Европы больше, чем когда бы то ни было. Современные конструкции центральноевропейской идентичности явно выполняют функции морально-психологической компенсации за отсталость. Это проявляется и в оценке Центральной Европы как хранилища утерянных Западом культурных ценностей, и в идее некоей ущербности послевоенной Европы в результате потери Центральной Европы. Между тем доминирующее в общественном настроении стремление слиться с Западом превращает само сохранение центральноевропейской специфики на исторически значимый период в признак неудачи. Впрочем, для большинства

стран Центральной Европы - Польши, Венгрии, Чехии, Словении, Хорватии - шансы стать частью Запада сегодня велики как никогда. Однако они скорее рассматривают друг друга как конкурентов в очереди к двери "на Запад", и политическое сотрудничество между странами региона по большей части пробуксовывает. Не случайно в последнее время Запад сам был вынужден подталкивать центральноевропейские государства к урегулированию конфликтов между ними, ставя это условием их дальнейшей интеграции в западноевропейские структуры.

Старый мотив понимания Центральной Европы как на самом деле "крайней" Европы, как бастиона европейской цивилизации или санитарного кордона, к востоку от которого лежит уже "не-Европа", многие творцы дискурса о Центральной Европе рассматривают в качестве способа повышения заинтересованности Запада в скорейшей инкорпорации их стран, в первую очередь в военные структуры. Совсем не случайно на конференции "Безопасность-95" в Лодзи в октябре 1995 года, куда представители России не были приглашены, ключевая сессия называлась "Может ли Центральная Европа защитить себя сама?". Хотя Россия своей политикой последних лет сделала немало для того, чтобы стук в дверь НАТО со стороны стран Центральной Европы звучал все более нервно, такая ориентация сама по себе небезопасна - она превращает регион в заложника отношений между Западом и Россией и по новому воспроизводит извечный центральноевропейский кошмар сдавленности.

Если продолжить спекуляции о возможном современном смысле политической концепции Центральной Европы, то наиболее перспективной представляется мне та трактовка, которая

подчеркивает именно центральность положения региона, но с акцентом не на его “сдавленность” между Германией и Россией, тем более что последняя в своем новом обличье с Центральной Европой не граничит, а на потенциал региона как связующего звена, своего рода “моста” между западом и востоком Европы. Но следование такой концепции предполагает качества, которые среди политиков весьма редки, а именно способность оценивать новые ситуации именно как новые, а не только через призму прежнего опыта.

Вина в том, что шанс на воплощение в жизнь такого понимания роли региона не был реализован, во многом лежит на России, которая не смогла пойти верного тона в отношениях с бывшими сателлитами и использовать те возможности, которые давала экономическая привязанность стран региона к российскому рынку. Если август 1991 много сделал для разрушения негативного образа России в Центральной Европе, то в последующие годы мы дали много новых аргументов тем, у кого Россия вызывает страх и неприязнь, отказываясь в то же время замечать адресованные нам конструктивные инициативы. Сегодня мы пожинаем плоды неуклюжей политики и невнимания к роли Центральной Европы после краха двухблоковой системы.

Однако как понятие исторической науки концепция Центральной или Восточно-Центральной Европы вполне имеет право на жизнь вне зависимости от шансов этого региона сохранить свою специфику в будущем. Изучение истории Центральной Европы сохраняет актуальность и в современной России. Причин тому несколько. В послевоенный период, когда ряд стран Центральной Европы находился в сфере влияния СССР, возникли официальные

версии их историй, в немалой степени подогнанные под концепцию "братской дружбы" и "вековых связей". Как следствие в 80-е годы политическими решениями создавались совместные комиссии историков по устранению так называемых белых пятен, но с вполне предсказуемыми для прямого вмешательства политики в научную сферу результатами. Если мы хотим - лучше поздно, чем никогда! - на политическом уровне найти верный тон общения со странами региона, если мы хотим обрести взаимопонимание на уровне общественного мнения, нам необходимо иметь адекватное представление о прошлом Центральной Европы, в котором немало травм, связанных с Россией, а также о современной ситуации в регионе, где остается немало антироссийских фобий, имеющих исторические корни. (Напомню, что российские или советские войска приходили как оккупанты в Венгрию в 1848 и 1956 годах, в Чехословакию в 1968, а богатая история российского вмешательства в Польшу тянется вообще с XVIII в.)

Есть и ряд дополнительных обстоятельств, ставших особо актуальными в последнее время. Во-первых, возникновение независимых Украины и Белоруссии сделало очевидным, что в России нет традиции изучения истории этих народов, что знаем мы эту историю из рук вон плохо. Последствия этого самые печальные, в том числе и для обретения необходимого взаимопонимания. Между тем история Украины и Белоруссии - это история пограничья между регионами Центральной и Восточной Европы, и невозможно понять ее без знания истории Центральной Европы и умения вычлнить элементы центральноевропейского влияния на Украину и Белоруссию.

Во-вторых, сегодня особенно очевидна необходимость концептуально нового осмысления истории России, прежде всего таких проблем, как развитие модернизационного процесса и национализма в Российской империи и СССР. Для решения этих вопросов очень важно найти верный компаративистский контекст. Всякий историк, знакомый с историей Центральной Европы, нередко приходит в состояние тихого бешенства, когда читает рассуждения многих "чистых" специалистов по российской истории об уникальности тех или иных ее черт. Не потому, что таковых нет, но потому, что невозможно верно их определить, равно как и найти в других случаях типологически близкие примеры, оперируя сравнениями лишь с Западом.

Примечания.

¹Даже если обратиться к периоду существования империи Габсбургов, которая охватывала в Новое время практически весь регион Центральной Европы, то о политическом единстве региона можно говорить лишь с большой осторожностью, поскольку весь последний век существования империи прошел под знаком конфликта интересов населявших ее народов и основным скрепляющим элементом империи была сохранявшая наднациональные черты монархия.

²*Naumann Fr.* Das Mitteleuropa. Berlin, 1915.

³*J.Partsch.* Zentraleuropa. Berlin, 1903; *J.Ancel.* L'Europe Centrale. Paris, 1930. В своем обзоре межвоенной историографии Центральной Европы я в основном опирался на работу: *Kłoczowski J.* Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu. Lublin, 1993. S.7-19.

⁴ *Halecki O.* East Central Europe in the Postwar Organization, The Historical Role of Central-Eastern Europe //The Annals of the American Academy of Political and Social Science. July 1943, March 1944.

⁵ *Halecki O.* The Limits and Divisions of European History. London-N.Y., 1950.

⁶ Подробнее о Р.А.Канне и Х.Коне см.: *Исламов Т.М.* Вопросы нации, национального самосознания и национальной идеологии в австрийской историографии // Национализм и формирование наций. М., 1994. С.176-185.

⁷ *Rothschild J.* East Central Europe between the Two World Wars. Washington, 1974.

⁸ *Wandycz P.* The Price of Freedom. A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London, New York, 1992.

⁹ Подробно о трудах Института славяноведения и балканистики см.: *Фрейдзон В.* Изучение процесса складывания наций в Центральной Европе в Институте славяноведения и балканистики АН СССР в 70-80-е годы. (Историографические заметки) // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. М., 1991; *T. Islamov, A. Miller, O. Pavlenko et al.* The Soviet Historiography of the Habsburg Empire. Austrian History Yearbook. 1995. Здесь назову только серию коллективных монографий "Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму. Проблемы истории и культуры" (список книг серии см. в кн.: У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М, 1984. С.227), двухтомник "Освободительные движения народов Австрийской империи. (М., 1980, 1981) и сборник "Австро-Венгрия: опыт многонационального государства." (М., 1995).

¹⁰ *Szucs J.* The Three Historical Regions of Europe: An Outline. Acta Historica Academiae Hungaricae 29 (2-4), 1983. ; Les trois Europes. Paris, 1985.

¹¹ Подробнее см. статью А.Пето в этом сборнике.

¹² См., например, *Ionescu E.* The Austro-Hungarian Empire: Forerunner of a Central European Confederation? // Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture. 4 (1985); *Kis D.* Variations on the Theme of Central Europe. // Cross Currents. 6 (1987); *Gornicki G.* Is Poland Really in Central Europe? // East European Reporter 4:2 1990; *Bojtar E.* Eastern or Central Europe? Cross Currents 7 (1988);

Ash T.G. *The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe*. N.Y., 1989; *Schopflin G., Wood N.* (eds) *In Search of Central Europe*. Cambridge, 1989; специальный номер "Daedalus" - "Eastern Europe... Central Europe... Europe." 119, N.1, 1990; *Hobsbawm E.J.* *The Return of Mitteleuropa*. // *The Guardian*, October 11, 1991. В целом библиография на основных европейских языках и языках стран региона только за последнее десятилетие включает многие сотни книг и статей.

¹³ *Ash T.G.* *Mitteleuropa?* // *Daedalus*. 119. N.1. 1990. P.18.

¹⁴ *Judt T.* *Rediscovery of Central Europe* // *Daedalus*. 119. N.1. 1990. P.48.

¹⁵ *Neumann I.B.* *Russia as Central Europe's Constituting Other*. // *East European Politics and Societies*. Vol.7, N.2, Spring 1993. P.349-350.

¹⁶ Кто бонтяся' независимой Украины. // *Молода Галичина*. 25.04.1992. с.1, 2.

¹⁷ Цит. по: *Neumann I.B.* *Russia...* P.359.

Борис Флоря

Институт славяноведения и балканистики РАН

Центральная Европа в Европе средневековья

Хорошо известно и зафиксировано в обобщающих исследованиях по типологии феодализма, что формирование классового общества и государства в разных частях Европы шло разными путями: в условиях сложного взаимодействия позднеримских и варварских институтов в той части Европы, которая позднее вошла в состав империи Карла Великого, и на чисто варварской основе в других частях континента. Именно на местной, варварской основе происходил переход от не-классового к классовому обществу в странах будущей Центральной Европы. В этом отношении исторический путь развития данных стран принципиально не отличался от пути развития стран Северной и Восточной и даже Юго-Восточной Европы, где поздне-римские порядки были полностью разрушены вторжениями славян.

В странах, развивавшихся на варварской основе, формирование классового общества и государства происходило со значительным хронологическим запаздыванием: если на территории будущей империи Карла Великого варварские королевства сформировались уже во второй половине VI-VII вв., то образование государств в других регионах Европы приходится на IX-X вв. Сформировавшийся здесь общественный строй существенно

отличался от порядков, характерных для варварских королевств Западной Европы. Наиболее полно характерные особенности этого строя раскрыты в исследованиях выдающегося польского медиевиста К.Модзелевского.¹

Если в варварских королевствах Запада правящий слой (варварская знать, епископы, потомки позднеримской знати), был слоем крупных землевладельцев, и существовала четкая взаимозависимость между размерами их владений и положением в государстве и обществе, то в странах Центральной Европы в эпоху раннего средневековья господствующей социальной группой была княжеская дружина, члены которой не обладали своей собственностью и существовали за счет получения доли в даях, взимавшихся с сельских общин в пользу государства. От главы этого государства - монарха дружинники получали коней, оружие, приданое для дочерей. Со временем в распоряжении верхнего слоя дружинников появились собственные владения, обрабатывавшиеся несвободной челядью, но доходы с них имели второстепенное значение по сравнению с тем, что давало им государство. Отсутствие у дружинников своих владений и зависимых людей, которые могли бы обслуживать их потребности, привело к возникновению такого института, как "служебная организация". В районах укрепленных крепостей - "градов", в которых жили дружинники, создавались поселения зависимого населения, обязанностью которого было снабжать дружинников пищей, обеспечивать их повседневные нужды, доставлять им разнообразные ремесленные изделия. Церковь также первоначально обеспечивалась десятиной от княжеских (государственных) доходов. В рамках такого общественного

устройства ключевое место принадлежало монарху, в руках которого находилась верховная власть и связанное с ней распределение доходов. Монарх был символом и конкретным воплощением государства. Для такого строя была характерна тесная взаимосвязь между интересами дружины и интересами князя - чем сильнее была власть князя, чем больше его доходы, тем лучше было и положение дружинников.

И на территории империи Карла Великого, и в других регионах Европы характерные для периода раннего средневековья крупные государства постепенно распадались, но характер этой раздробленности был различным - на Западе Европы речь шла о приобретении самостоятельности сложившейся феодальной сеньорией, не нуждавшейся для своего функционирования в руководстве государственной власти, в странах Центральной Европы - о политическом обособлении областных корпораций дружинников, не желавших делиться доходами с верховной властью.

Описанная здесь модель общественно-политического строя по своим основным чертам была идентичной во всех центральноевропейских государствах раннего средневековья: Польше, Чехии и многоэтничном Венгерском королевстве. Существенные локальные отличия могут быть отмечены лишь в историческом развитии последнего: дело не только в том, что здесь исходным пунктом исторического развития послужили социальные отношения кочевого общества - пришедших из восточноевропейской степи мадьярских племен, постепенно переходивших к оседлости на новом месте поселения. Более важно, что на территории Среднего Подунавья имелись обширные области, пригодные для ведения

скотоводческого хозяйства, где сохранялись более архаичные социальные отношения, характерные для кочевого общества, само это население пополнялось за счет притока кочевников из Восточной Европы (как, например, половцев-куманов в XIII в.). Возникавшие на этой почве противоречия между интересами кочевых групп населения и интересами остального общества были характерными для Венгерского королевства, но не для других стран Центральной Европы.

Становление модели социального строя описанного выше типа шло через узурпацию функций и компетенций общественных институтов родоплеменного общества в условиях соперничества между княжеской дружиной и племенной знатью. В случае полной победы дружины модель формировалась в наиболее "чистом" завершенном виде, в случае компромисса двух сил ее очертания оказывались размытыми, государственная организация более примитивной и неразвитой. Примером второго варианта может служить Скандинавия, где дружины местных правителей не достигли ни таких размеров, ни такого значения, чтобы для обеспечения их потребностей надо было создавать "служебную организацию". Примером первого наряду с государствами Центральной Европы может служить Киевская Русь, где обнаруживаются все существенные компоненты модели, включая и такие институты, как княжеская десятина и служебная организация.

Различия между странами Центральной Европы и Киевской Русью в эпоху раннего средневековья в основном ограничивались тем, что они приняли христианство из разных центров христианского мира, страны Центральной Европы - из Рима, а Киевская Русь - из

Константинополя. В соответствии с этим и зарождавшаяся христианская культура имела в Центральной и Восточной Европе несколько разный облик. Однако эти различия в культурной ориентации не вели на данном этапе к зарождению социальных различий. Даже положение духовенства в обоих регионах, несмотря на его принадлежность к разным христианским конфессиям, регулировалась сходными нормами, не имевшими подчас аналогий ни в латинском мире, ни в Византии, где не был, например, известен институт княжеской десятины.

Отрывочный, фрагментарный характер источников затрудняет развернутый ответ на вопрос о характере социально-политической организации "варварских" государств на территории Юго-Восточной Европы. На данном этапе исследований можно, однако, определенно утверждать, что возникавшие здесь государства ничем принципиально не отличались от других государств, формировавшихся в IX-X вв. на территории не-каролингской Европы. Некоторые наблюдения позволяют предполагать, что в рамках очерченной выше классификации, Первое Болгарское царство стояло ближе к странам Центральной Европы и Киевской Руси, а Сербия и Хорватия к государствам Скандинавии.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что в эпоху раннего средневековья еще нет оснований говорить о Центральной Европе, как о особом регионе со своим только ему присущим путем развития. В частности не прослеживаются для этого времени серьезные различия между развитием Центральной и Восточной Европы. Однако отличия в культурной ориентации, не определявшие в эпоху раннего средневековья положения в целом, имели важное значение для

будущего, так как создавали благоприятные условия для расширения контактов со странами Западной Европы, вступившими с XI-XII вв. в новую фазу исторического развития, которое в далекой перспективе привело к возникновению нового, капиталистического общества.

XIII-XIV века - новый этап в историческом развитии стран Центральной Европы, когда в них складывается иной тип социальной организации, сословное общество, стадильно близкое современному им западноевропейскому обществу. Все это происходило в условиях значительного расширения контактов со странами Западной Европы, под прямым влиянием социальных норм и социального опыта западноевропейского общества.

На протяжении XIII-XIV вв. дружинники раннего средневековья превратились в феодалов-землевладельцев, положение которых стало во многом аналогично положению сеньоров европейского Запада. Они теперь не только были обладателями немалых земельных владений с зависимым населением, но и свободно распоряжались их судьбой и доходами от них. Иммуниетные права ограждали их владения от вмешательства государственной администрации в их внутреннюю жизнь и значительно ограничивали ее право на сбор налогов. Аналогичные изменения произошли в положении духовенства и находящейся в его распоряжении собственности. Зарождавшиеся сословия духовенства и дворянства постепенно приобрели характер самоуправляющихся корпоративных структур. В новой системе отношений между интересами монархии и сословий уже не было полного совпадения, а, напротив, наметились определенные противоречия, связанные с притязаниями сословий участвовать в принятии важных, затрагивающих интересы сословий

решений, выступать наряду с монархом в качестве представителей интересов страны. Происшедшие сдвиги в области сознания нашли свое выражение в создании особого понятия "Корона королевства", как символического воплощения государства, стоящего над монархом. Местом согласования интересов монархии и сословий становятся к концу XIV в. органы сословного представительства (сеймы - в Польше, снемы - в Чехии, государственные собрания - в Венгрии). Складывался, таким образом, новый тип государства - сословная монархия - типологически близкая сословным монархиям стран Западной Европы XIII-XIV вв.

В тот же самый период в странах Центральной Европы под непосредственным воздействием западных образцов и при прямом участии иностранных (главным образом немецких) колонистов создаются города западноевропейского типа с особым правовым статусом городского населения, строящего свою внутреннюю жизнь по своим, только для него характерным нормам, и с широким по объему самоуправлением. При оформлении и правового статуса горожан, и самоуправления городской общины самым широким образом использовались нормы западноевропейского городского права. С приобретением городским населением суммы соответствующих прав было положено начало формированию особого городского сословия в странах Центральной Европы.

Наконец, важные изменения сходной направленности произошли в XIII-XIV вв. в положении крестьянства. Именно в это время в странах Центральной Европы получило распространение (также при прямом участии иностранных колонистов) крестьянское держание западноевропейского типа, получившее здесь название

держания на "немецком праве". Его характерными чертами были личная свобода крестьянина, размер обязательств которого по отношению к господину (денежной ренты) определялся договором-соглашением, нарушение условий которого можно было обжаловать в государственном суде.

Эту картину всестороннего сближения между странами Центральной и Западной Европы следует дополнить важными изменениями в сфере культуры. Именно в XIII-XIV вв. происходит рецепция центральноевропейским обществом "ученой" схоластической культуры латинского Запада (вплоть до создания первых университетов) и одновременно его светской "рыцарской" культуры.

Все эти перемены привели к тому, что место Центральной Европы в средневековой Европе существенно изменилось. Дело было не только в том, что происшедшие изменения привели к глубокому и всестороннему сближению стран Центральной Европы и стран Западной Европы. Не менее важно, что происшедшие изменения в XIII-XIV вв. совсем не затронули Восточную Европу, где в целом сохранялись формы социальной организации, характерные для более раннего периода, а перемены, имевшие место (определенный рост землевладения светской знати и церкви) были недостаточно масштабными, чтобы привести к системным изменениям традиционной модели. С этого времени исторические пути развития Центральной и Восточной Европы начинают расходиться. Что касается Юго-Восточной Европы, то здесь можно наблюдать тенденции развития в том же направлении, что и в Центральной Европе, хотя и более слабо выраженные. Как показывают

исследования по истории Сербии XIII-XIV веков, здесь также складывалось крупное землевладение светской знати и церкви, защищенное широкими иммунитетными правами, формировались органы сословного представительства, зарождались при участии иностранных колонистов новые формы городской жизни. Однако эти тенденции развития были прерваны османским завоеванием.

С конца XIV в. Центральная Европа определенно отличалась от Восточной и Юго-Восточной Европы, как регион, где утвердились общественные отношения, характерные для западноевропейского феодализма.

Вместе с тем есть основания полагать, что уже в XIII-XIV вв. - в период утверждения в Центральной Европе нового общественного строя, строй этот отличался от строя наиболее развитых стран Запада рядом существенных особенностей. К сожалению, вопрос о соотношении для этого периода центральноевропейской и западноевропейской модели общественного развития по-настоящему не разработан, и, опираясь на результаты имеющихся исследований, можно высказать лишь некоторые достаточно отрывочные и не систематизированные наблюдения.

В отличие от Восточной Европы страны Центральной Европы уже в XIII-XIV вв. были достаточно тесно вовлечены в формирующуюся систему европейских экономических связей, однако, как отмечают исследователи экономической истории региона (в особенности здесь следует отметить работы чешского исследователя Й.Яначека и польского М.Маловиста²⁾) в рамках этой системы центральноевропейские страны занимали подчиненное, периферийное положение. Развитые страны Запада были потребителями лишь

сырьевых ресурсов этого региона, а для продукции их ремесленного производства западные рынки были закрыты. Определенное процветание центральноевропейских стран в XIII-XIV вв. (а отчасти и позднее), несмотря на неблагоприятные условия международного обмена, объяснялось тем, что на территории региона (в Чехии, Словакии, Трансильвании) находились богатые залежи драгоценных металлов, меди, свинца, интенсивная разработка которых, как ответ на потребности европейской экономики, началась как раз в XIII-XIV вв. В конечном итоге, как отметил Й.Яначек, вывоз на Запад драгоценных металлов, стимулируя ввоз в обмен на них более дешевых иностранных товаров, мешал, тем самым, развитию местного производства. Неслучайно, наиболее крупные города региона были прежде всего центрами транзитной торговли на путях, связывавших между собой Восток и Запад Европы.

В целом следует констатировать, что города Центральной Европы не обладали ни тем экономическим могуществом, ни тем политическим влиянием, которым обладали города ряда развитых стран Запада. В соответствии с этим в возникавших органах сословного представительства роль городов была второстепенной, и в системе сословной монархии этого региона города не выступали политическим противовесом дворянству, как в Англии или во Франции.

Некоторые особенности положения дворянства в странах региона также говорят о том, что уже в XIII-XIV вв. позиции дворянства были здесь сильнее, чем на Западе Европы.

В странах Западной Европы земельная собственность феодалов имела условный характер, владелец феода находился не

только в личной, но и в поземельной зависимости от своего сеньора (а таким сеньором чем дальше, тем все больше становился монарх), и в случае нарушения своих вассальных обязательств мог утратить владение. В странах Центральной Европы (как и в Сербии XIII-XIV вв.) подобные отношения были известны, но распространялись на сравнительно небольшую часть земельных владений. Здесь преобладала родовая наследственная собственность, свобода распоряжения которой находилась в руках ее владельца, не связанного с правителем отношениями поземельной зависимости.

На Западе Европы (в частности, во Франции) распространение новых форм крестьянского держания сопровождалось в XIII-XIV вв. расширением юрисдикции королевского суда за счет юрисдикции суда сеньора (увеличивался круг дел, рассмотрение которых должно происходить в королевском суде, устанавливается контроль королевской юстиции над деятельностью сеньориальных судов). Государство все чаще выступает здесь в роли посредника между сеньором и подданными, которых связывают между собой договорные отношения. В странах Центральной Европы распространение крестьянского держания аналогичного типа сопровождалось, напротив, постепенным переходом в руки феодалов сначала низшей, а затем и высшей юрисдикции над подданными.

Все это позволяет предполагать, что уже в XIII-XIV вв. в период глубокого сближения социально-политического строя стран Центральной и Западной Европы закладывались предпосылки для иных путей исторического развития в последующее время.

Вместе с тем отмеченные особенности позволяют уже для XIII-XIV вв. говорить о странах Центральной Европы, как особом регионе, где протекавшие процессы определенно отличались не только от того, что происходило на Востоке и Юго-Востоке Европы, но и от того, что происходило на Западе Европы.

Характеризуя совокупность процессов, протекавших в регионе на протяжении XIII-XIV вв., следует также отметить, что к концу этого периода определились некоторые черты особого положения Чехии. Дело не только в том, что, как утверждают исследователи экономической истории, по степени своей заселенности, густоте городской сети Чехия уже в этот период стояла ближе к западноевропейским странам, чем к соседним с ней странам Центральной Европы. Еще более важно, что с конца XIV в. чешские города превратились в важные центры ремесленного (прежде всего - текстильного) производства. Их продукция, менее качественная, чем на Западе Европы, но более дешевая, находила широкий спрос на восточноевропейских рынках. О широком размахе торговли чешским сукном на землях этого региона богатый материал собран в известной работе А.В.Флоровского.³

С важным экономическим значением, которое приобрели с конца рассматриваемого периода чешские города, связано завоевание ими в гуситскую эпоху широкого объема самоуправления, их активное участие в работе сословного парламента - снема, их притязания на то, чтобы без их участия не принимались важные политические решения, касавшиеся судеб страны.

Хотя период, когда чешские города играли значительную роль в исторических судьбах страны, оказался недолговечным, все же

наблюдения над историей Чехии показывают, что в отличие от других стран региона общий для всей Центральной Европы процесс развития осуществлялся здесь в борьбе с тенденциями, существование которых указывало на нереализованную возможность развития страны по другому пути.

XV-XVI вв. есть основания охарактеризовать как тот хронологический период, когда окончательно и на целую эпоху перехода от феодализма к капитализму в Европе определилось особое место центральноевропейского региона на этом континенте.

Хотя и в этот период продолжает сохраняться выработанная в предшествующий период сословная структура общества, происходят существенные изменения в характере отношений между отдельными сословиями. На протяжении второй половины XV-XVI вв. на всей территории Центральной Европы (более или менее синхронно в Польше и Венгерском королевстве, позднее и в более смягченных формах в Чехии) сильно меняется традиционный характер взаимоотношений между дворянством и крестьянством, постепенно ухудшается материальное, социальное и правовое положение последнего. Элементы договоренности в отношениях между господином и держателем исчезают, держателя принуждают к систематической работе в барском хозяйстве на условиях, диктуемых господином, государственные органы не вмешиваются в отношения между господином и крестьянином, над которым во всей полноте утверждается судебно-административная власть феодала, наконец, крестьяне прикрепляются к земле. Этим переменам сопутствовало ухудшение правового статуса горожан, которые подчас начинают рассматриваться в законодательстве вместе с крестьянами, как

единый социальный слой "плебеев", городское самоуправление подчиняется органам дворянской власти, устанавливаются различные ограничения свободы их хозяйственной деятельности в интересах дворянства (например, польская практика таксации воеводами цен на продукты городского ремесла при сохранении свободы цен на сельскохозяйственные продукты). Характерным явлением экономической истории Центральной Европы в XVI-XVII вв. стало замедление роста городов и численности городского населения.

Некоторые из отмеченных явлений (как, например, ограничение городского самоуправления, упадок политической роли городов) были и на Западе Европы, но такие явления, как исключение крестьян из общественной жизни, распространение крупных хозяйств, основанных на принудительном труде, замедление роста городов и ухудшение социального статуса городских жителей - не имели места в развитых странах Западной Европы, вступавших в то время на путь капиталистического развития. Таким образом, XV-XVI вв. - это тот хронологический период, когда после глубокого и всестороннего сближения исторические пути развития Центральной и Западной Европы начинают решительно расходиться.

Есть серьезные основания считать одной из важных причин наметившихся различий то обстоятельство, что в системе европейских экономических связей раннего Нового времени закрепилось периферийное, подчиненное положение центральноевропейских стран. На протяжении XV-XVI вв. окончательно определилась их роль, как поставщиков не только сырья (как было ранее), но и продовольствия в наиболее урбанизированные районы Западной Европы в обмен на поступающие отсюда промышленные товары. Это

продовольствие производилось в основном на принудительном труде дворянском хозяйстве, и доходы от его продажи поступали в распоряжение дворянства. Все это способствовало закреплению ведущей роли дворянства в общественной жизни стран Центральной Европы, в то время как на Западе его ведущая роль стала постепенно ослабевать с развитием капиталистических отношений.

Помимо различий в социально-экономической области в XV-XVI вв. обозначились и глубокие различия в эволюции политического строя. В странах Западной Европы XV-XVI вв. - время, когда намечается переход от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной. Сословия сохраняют свой особый статус и связанные с ним права и привилегии, свои корпоративные структуры, но подчиняются контролю и руководству со стороны государства и отстраняются от непосредственного участия в решении крупных политических вопросов, возрастают размеры и роль государственного аппарата, который во все большей мере состоит из профессиональных чиновников.

В странах Центральной Европы эволюция политического строя пошла в ином направлении. Органы сословного представительства - парламенты не только не были упразднены, наоборот, их функции были заметно расширены за счет ограничения прав монарха. Эти парламенты формировались прежде всего из представителей дворянского сословия, роль городов в его работе была незначительна или (как в польском сейме) его представители вообще отсутствовали. В руках выборных представителей дворянства оказались и судебные органы. Наконец, ряд функций органов государственной власти на местах и решение многих вопросов

местной жизни входят в сферу деятельности местных дворянских собраний, компетенция которых постоянно расширяется. К этому следует добавить, что сама монархия становится выборной и каждый новый правитель получает трон, лишь приняв на себя продиктованные дворянством обязательства. В такой системе отношений даже лица, назначавшиеся на свои должности монархом, воспринимали себя в первую очередь, как представителей своего сословия и лишь потом - как государственных чиновников. Постоянная армия и постоянные налоги отсутствовали. Рост государственного аппарата не происходил, и профессиональное чиновничество не образовывало влиятельной социальной группы. Складывание этой системы отношений сопровождалось выработкой политической идеологии, в которой дворянское сословие фактически отождествлялось с государством, а его интересы - с интересами государства.

Таким образом, если на Западе дворянство как сословие устранялось от прямого участия в политической жизни, то в странах Центральной Европы сословно-представительная монархия эволюционировала к такому типу государства, когда дворянство не опосредованно через органы государственной власти и чиновничество, а непосредственно (или через своих выборных представителей) не только определяло общее направление государственной политики, но и осуществляло конкретное управление на разном уровне. Произошло не отстранение дворянского сословия от политической жизни, а наоборот, вовлечение представителей разных его слоев в решение самого широкого круга политических вопросов.

Тем самым и рассмотрение проблем социально-политической истории приводит к заключению о глубоком различии путей развития Центральной и Западной Европы, начиная с XV-XVI вв.

Как соотносились процессы, протекавшие в XV-XVI вв. в Центральной Европе, с процессами, протекавшими в восточноевропейском регионе?

Здесь следует учитывать, что в XV-XVI вв. восточноевропейский регион уже не может рассматриваться, как единое целое. Во многом разные процессы протекали на территории Литвы, белорусских и украинских земель, объединившихся в 1569 г. с Польским королевством в одно государство - Речь Посполитую, и на территории тех восточнославянских земель, которые во второй половине XV в. объединились в Русском государстве.

Если при сопоставлении процессов, протекавших в Западной и Центральной Европе можно говорить о всесторонних контрастных различиях, охватывавших и социально-экономическую и политическую сферу, более сложная картина вырисовывается при сопоставлении процессов, протекавших на территории Центральной Европы и на территории России.

Ряд явлений в социально-экономической сфере, такие, как полное подчинение крестьян судебной-административной власти господ, прикрепление их к земле, распространение хозяйств, основанных на принудительном труде, находит себе аналогии и на русской почве, хотя аналогичный процесс утверждения крепостнических отношений в аграрной сфере развертывался в России с определенным хронологическим запозданием. Тем самым, есть определенные основания утверждать, что, начиная с XV-XVI вв.

при нарастающем расхождении с Западом намечается определенное сближение путей социально-экономического развития Центральной и Восточной Европы.

Вместе с тем наряду с этим сходством очевидны резкие различия при обращении к социально-политической сфере. В русской сословной монархии, как она конституировалась в XVI-XVII вв., участие представителей сословий в решении политических вопросов было весьма скромным, органы сословного представительства, которые бы действовали постоянно, отсутствовали, представителей сословий лишь время от времени собирали для принятия решений, преимущественно по вопросам внешней политики; в структуре административного управления на местах выборным представителям дворянства принадлежало ограниченное количество мест не первостепенного значения. Власть русских государей была наследственной и ничем формально не ограниченной. Неудивительно, что сословная монархия такого типа сравнительно быстро превратилась в абсолютистское государство.

Таким образом, политическая надстройка в России была резко отлична от политической надстройки стран Центральной Европы и, несмотря на черты очевидного сходства в сфере аграрных отношений, есть основания полагать, что речь должна идти все же об обществах разного типа. И действительно, за своеобразием политической надстройки стран Центральной Европы и России обнаруживаются социальные различия более глубокого порядка. Социальный строй стран Центральной Европы XV-XVI вв. был результатом трансформации в интересах дворянства традиций сословного общества XIII-XIV вв., когда общество делилось на

сословия - социальные группы, чей статус был оформлен специальными актами, определявшими, в частности, характер их отношений с государственной властью, группами, живущими по своему особому праву и обладающими своими органами самоуправления. Частью этих прав пользовалось даже крестьянство. Это сословное общество, как уже отмечалось выше, сложилось в условиях расширения контактов с Западом, и западные образцы активно влияли на его формирование. Перемены XV-XVI вв. в социально-политическом плане заключались в расширении прав дворянства за счет власти монарха и прав других сословий. Однако и после этих перемен общество стран Центральной Европы продолжало оставаться в известной мере сословным обществом западного типа, в котором горожане, несмотря на ухудшившийся социальный статус, продолжали жить по нормам своего особого права и пользоваться, хотя и ограниченным, самоуправлением. Как представляется, традиции сословного общества сказывались известным образом и на положении крестьянства, препятствуя развитию наиболее диких, варварских форм крепостничества.

Своеобразное сословное общество России в XV-XVI вв. сложилось иным путем, вне контактов с Западом на базе медленной и постепенной эволюции того особого социального строя эпохи раннего средневековья, о котором говорилось выше. Недавнее исследование Л.В.Даниловой, где дан обстоятельный анализ социальных отношений в русском обществе XVI-XVII вв., характеризует сословия, на которые делилось общество того времени, как "служилые" организации, чьи права и привилегии не были закреплены обязательными для государственной власти правовыми

актами, организации, подчиненные жесткому контролю и руководству государственной власти, которая представляла отдельным социальным группам те или иные права лишь при условии выполнения тех или иных служб в ее пользу.⁴

Отсюда - глубокие различия реального положения, но также образа жизни, поведения и психологии не только дворянства, но также духовенства и в известной мере горожан.

Подводя итоги можно установить, чем определялось в XV-XVI вв. историческое своеобразие региона Центральной Европы. От Запада Европы его отличало существование крепостнических отношений, от Востока - сохранение традиций сословного общества западного типа, от того и от другого - существование своеобразной политической надстройки, когда дворянское сословие непосредственно осуществляло многие функции государственного управления.

Сложные проблемы возникают при сопоставлении процессов, протекавших в XV-XVI вв. в Центральной Европе и процессов, протекавших в то же время на землях Белоруссии, Украины и Литвы. Как известно, в XV-XVI вв. имели место очень серьезные изменения традиционного социального строя под воздействием той модели организации общества, которая сложилась к этому времени в одной из центральноевропейских стран - Польше. Здесь следует говорить и о развитии крепостнических отношений с ориентацией на польские образцы, и о выработке аналогичных польским форм политического строя, и о рецепции городского (магдебургского) права и соответствующих форм городского самоуправления и, наконец, о приобретении местным дворянством прав и привилегий, которыми

пользовались дворяне стран Центральной Европы. Закономерным результатом глубокой и всесторонней рецепции местным обществом норм, характерных для польской модели общественного развития, стало объединение охваченных этим процессом территорий Восточной Европы с Польским королевством в одно государство - Речь Посполитую.

Так как польская модель общественного развития принципиально не отличалась от модели развития других центральноевропейских стран, то правомерно поставить вопрос, не следует ли, начиная с XVI в., рассматривать территории Восточной Европы, вошедшие в состав Речи Посполитой, как часть центральноевропейского региона?

Не углубляясь в рассмотрение вопроса, который требует специального исследования, следует отметить ряд важных особенностей, отличающих общественную жизнь на этой территории от того положения, которое существовало собственно в Центральной Европе.

Центральноевропейская модель общественной организации XV-XVI вв. в ее польском варианте была заимствована обществом, не знавшим ранее традиций сословного общества западного типа. Поэтому ряд особенностей этой модели проявились с гораздо большей силой и выразительностью на восточноевропейских землях Речи Посполитой. Положение крестьянства, не знавшего держания "на немецком праве", оказалось еще более бесправным, чем положение крестьян в странах Центральной Европы, роль и значение городов, развитие которых с рецепцией польской модели замедлилось на гораздо более низком уровне, чем в странах Центральной Европы,

оказалось еще более незначительным, а положение горожан еще более приниженным. Всевластие дворянства оказалось здесь особенно сильно выраженным, а крепостнические отношения приобретали особенно грубые, жестокие формы. Соответственно и борьба против крепостнических отношений приобретала здесь степень остроты, неизвестную странам Центральной Европы.

Наконец, как особый исторический феномен, неизвестный странам Центральной Европы, следует отметить роль, которую сыграло в этой антикрепостнической борьбе казачество - социальная группа, отсутствовавшая вобществах Центральной Европы. Дело не только в том, что казачество было движущей силой целого ряда крупных восстаний, направленных против установления крепостнических отношений. Еще более важно, что в сознании широких кругов населения "вольная" жизнь казака стала своеобразным идеалом, а казак - героем, реальным воплощением этого идеала. Такое своеобразие борьбы против крепостничества, не свойственное вовсе Центральной Европе, находит близкие аналогии в истории России, где мы сталкиваемся и с аналогичной ролью казачества в общественном сознании низов.

Все сказанное позволяет поставить вопрос, не правильнее было бы рассматривать восточноевропейские земли в составе Речи Посполитой не как часть центральноевропейского региона, а скорее как промежуточную зону между Центральной и Восточной Европой, где можно одновременно обнаружить черты, характерные для разных путей европейского развития.

Примечания.

¹ *Modzelewski K.* Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Wrocław, etc. 1987.

² *Janáček J.* Stříbro a ekonomika českých zemí ve 13 století // *Československý časopis historický*. 20. 1972; *Idem.* České dějiny. Doba předbelohorská. 1526-1547. kn.I, d.I. Praha, 1971; *Małowist M.* Wschód a Zachód Europy w XIII-XIV wieku. Warszawa, 1973.

³ *Florovskij A. V.* České sukno na vychodoevropském trhu. Praha, 1947.

⁴ *Данилова Л.В.* Становление системы государственного феодализма в России. Причины, следствия // Система государственного феодализма в России. Сб.статей. М., 1993.

Средняя Европа на начальном этапе модернизации

Начнем с терминологии. Итак, что же такое Средняя Европа? Мнения на этот счет расходятся, причем расхождения эти довольно значительны. Существует множество толкований региона, называемого Средней (или очень часто, но неточно “Центральной”) Европой.¹ В отличие от других европейских регионов он гораздо менее определен и осязаем. Объяснимо это отчасти своеобразной содержательной расплывчатостью региона, недостаточно рельефной выраженностью его “родовых” признаков, а также известной размытостью границ, в особенности восточных. Неуверенность в толковании его сущности и формы вызывается, по моему мнению, двумя обстоятельствами. Во-первых, родством и схожестью исторического процесса или решающих его элементов с процессами, протекавшими как на Западе континента, так и на его Востоке. Другое важное обстоятельство - чрезвычайная геополитическая динамичность Средней Европы, подвижность и изменчивость ее границ на разных этапах исторического процесса. Многовековая тесная связь с соседними регионами, чередование ориентации то на Запад, то на Восток на разных ступенях общественного развития дают достаточно веские основания причислять Среднюю Европу целиком или отдельными частями к одному из соседних регионов.

Представление о единообразии и общности исторического развития стран, находящихся между Эльбой и Уралом, оказалось достаточно стойким и живучим. Оно постоянно питалось и подкреплялось прочно утвердившимся в марксистской историографии тезисом о так называемых “общих закономерностях”, детерминированно управляющих процессами, происходящими в макроструктурах. Применительно к ареалу Восточной Европы это - пресловутый “пруссский путь развития” и “пережитки феодализма” (по Ленину), “второе издание крепостничества” или “вторичное закрепощение” (по Энгельсу), и, наконец, это вердикт самого Маркса об общей формационной отсталости территорий к востоку от Эльбы в эпоху феодализма и в переходный к капитализму период. Экипированному этим набором директивных указаний историку оставалось, в сущности, только одно - на конкретно-историческом материале каждой страны “к востоку от Эльбы” проиллюстрировать истинность и всеобщую значимость учения классиков. При этом мало кого смущало, что эти самые классики и не ставили перед собой специальную задачу исследования регионов, а хотели лишь подчеркнуть, оттенить типологическую особенность английской модели капитализма или фермерского пути развития капитализма в США.²

На самом деле речь идет, как указывает Петер Ханак, о двух совершенно различных исторических регионах, отличающихся друг от друга генетически (поскольку до XVI в. Средняя Европа была интегральной частью Западной Европы), структурно (соотношение форм присвоения феодальной ренты - денежной и (или) натуральнобарщинной - в переходный период, а также по модели модернизации. По всем этим фундаментальным показателям автор показывает каче-

ственное различие между Россией и Средней Европой. При сопоставлении последней с Западом акцент делается на сходстве и общности путей развития, хотя добросовестно фиксируются и существенные между ними различия. У меня однако складывается впечатление, что следует обратить больше внимания на факторы, сближающие средне-европейский регион с восточноевропейским по тем же трем показателям, ведь Среднюю Европу можно рассматривать в первую очередь как переходную зону между Востоком и Западом. Расположенная как бы посередине, "в промежутке" между Западом и Востоком, она одновременно и разъединяет, и объединяет их, две континентальные "крайности", образуя переходную от одной цивилизации к другой промежуточную зону.

Вторым важным моментом я считаю необычайную гибкость границ и изменчивость очертания контуров региона в определенные промежутки времени, обычно синхронно со сменой господствующих в данную эпоху на континенте больших социально-политических систем и режимов. Верно заметил польский философ Кшиштоф Помиан: "Плоха та география, которая, пренебрегая фактором времени, рассматривает Европу как образование с четко очерченными контурами."³ Что же касается Средней Европы, то она четкими и законченными контурами не обладала, пожалуй, никогда за всю историю своего существования, за исключением южных границ в период османского владычества и западных границ в эпоху советско-коммунистической доминации. Помимо этой непреложной данности, существует, однако и ее субъективное отражение в общественном сознании, еще более гибкое, динамичное, еще более подверженное изменениям.

Вообще надо сказать, что изменение представлений о регионах, обусловленное мироощущением, свойственным той или иной эпохе, явление вполне естественное. В XIX в. германский канцлер Отто фон Бисмарк и австрийский Клеменс Венцель князь Меттерних неоднократно утверждали: Европа кончается где-то за городскими кварталами Вены. Австрийский канцлер, в 1813 - 1848 гг. один из вершителей судеб континента, прозванный за это “кучером Европы”, с каким-то особым наслаждением любил повторять: “ Азия начинается за Ландштрассе”, или “ Мой дом на Реннвег есть граница цивилизации”⁴ (Дворец Меттерниха расположен на пересечении двух названных улиц, ведущих на восток в сторону Венгрии. При этом самое интересное заключается в том, что упомянутый район не какая-то далекая окраина австрийской столицы, а самый что ни на есть центральный, непосредственно примыкающий ко дворцу Хофбург в самом центре города.) С течением времени, с изменением доминант исторических эпох, менялись не только представления о регионе, изменялось само его положение в системе координат континента. Один гениальный венгерский поэт XX века, озабоченный частыми трагическими поворотами судьбы своей родины, в порыве отчаяния назвал Венгрию “страной-паромом”, которая пристает то к одному, то к другому, потивоположному берегу. Пользуясь этим образом, можно сказать, что и Среднюю Европу на протяжении ее бурной истории могучими порывами кидало от берега к берегу до тех пор, пока утвердившаяся здесь новая средневропейская империя не стабилизировала международно-правовой статус региона и его положение в отношении к соседним регионам. С исчезновением империи исчезла и эта стабильность.

В рассматриваемую нами эпоху под средневропейским регионом практически подразумевались империя Габсбургов и Польша. Знаток европейской истории XVIII-XIX вв. академик Домокош Кошари в последней своей монографии применительно к этой эпохе локализует Среднюю Европу в пространстве между Пруссией, империей Габсбургов и Россией, констатируя наличие “общих, региональных черт”, присущих расположенным в этом пространстве странам. К ним он относит Австрию, Венгрию, Чехию и территории, присоединенные к империи после разделов Польши в 1772 и 1795 гг.. “Эту зону, - пишет он далее, - мы называем восточной частью Средней Европы, или Восточно-Средней Европой”.⁵ Всё верно, за исключением того, что предложенное обозначение в русском звучании не совсем согласуется с неписанными законами русской речи и терминологической традицией русской исторической литературы. Термин же “Средняя Европа” в нашей литературе широко применялся. Им, в частности, пользовался наш замечательный учёный Сергей Данилович Сказкин.⁶

Что же касается географического и геополитического аспектов рассматриваемого вопроса, то очевидно, что во всех вариантах, даже если включить в среневропейский регион Швейцарию, регион спокойно может быть отождествлен с основным ядром владений австрийских Габсбургов, без Северной Италии и Бельгии. Иными словами в качестве “регионообразующего” фактора выступает монархия Габсбургов. Кстати, при внимательном взгляде окажется, что и большинство других европейских регионов своим происхождением обязаны империям: Восточная Европа - Российской империи, Юго-Восточная Европа - Византийской и Османской. Да и западноевро-

пейский регион сам генетически и цивилизационно связан с Римской империей. В нашем же случае наиболее дотошные исследователи, говоря о Средней Европе, уточняют: “империя Габсбургов и населенные поляками земли”.⁷ И в этом свой резон имеется несомненно. Если быть точным и последовательным, то следовало бы пользоваться громоздким словосочетанием “Восточная часть Средней Европы”, звучащим более благопристойно на иностранных языках - Ost-Mitteleuropa, East-Central Europe. Или же дословно переводить английский вариант на русский, как это делает в статье, оценивающей существующие ныне концепции “Центральной Европы”, Алексей Миллер, называя наш регион “Восточно-Центральной Европой”.⁸ Неточен сам термин “Центральная Европа”, часто встречающийся в нашей литературе, ибо пространство им обозначаемое никогда *центральной, ведущей* роли по отношению к другим регионам не играла, а парадигма “центр - периферия” к нему вовсе не применима. К тому же явно выпадает из этого ряда типично западноевропейская страна - Швейцарская Конфедерация, расположенная в самом центре географической Центральной Европы. Как видим, география не всегда гармонично сочетается с историей, предмет же нашего разговора не географический регион, а исторический.

Решающими в становлении особого средневропейского региона были, как мне представляется, XVI-XVII вв. На рубеже XV-XVI вв. качественных различий, которые бы отделяли его от Запада китайской стеной, еще не было. И прежде всего потому, что именно в это время с достаточной четкостью проявились три главные тенденции развития общеевропейской значимости.⁹ Это прежде всего возвышение Запада с одновременным отставанием примыкающих к нему

стран, расположенных в средней части континента, между западной Европой и Европой восточной, совпадающей практически с территорией обитания восточных славян. Среднеевропейские страны, издавна и традиционно тяготевшие к Западу, имели с последним, как показал в своей статье для этого сборника Борис Флоря, больше сходства и связей, чем с Восточной Европой. Сказанное относится к королевствам Чехия и Венгрия, и, с некоторыми оговорками,¹⁰ к Польше.

В целом же на формировании региона, на его развитии и эволюции во времени и пространстве, и в первую очередь на характере и потенции экономического прогресса самым отрицательным образом сказалось перемещение оси мировой торговли в Атлантику вследствие великих географических открытий, революции цен и обесценения денег в результате притока заокеанского серебра в Европу.

Стагнация в сфере товарно-денежных отношений, в производственной сфере, псевдотребованность технических усовершенствований и технологических новшеств, слабость городского развития, лишившая среднеевропейский город его мощной преобразующей роли, в сочетании с усилением экономического и социально-политического веса феодального землевладения - все это помешало региону, т.е. Периферии, достойно принять вызов Центра, т.е. Западной Европы. Необходимо вместе с тем отметить, что меньше всего отставание наблюдалось в сфере духовной жизни. В особенности же сказанное может быть отнесено к элитарной культуре, идет ли речь о гуманистической культуре эпохи Возрождения или барочной времен позднего зрелого феодализма, распространявшихся беспрепятственно благодаря близости этих стран к Италии и Германии. В известном смысле мы вправе говорить о европейской общности и единстве духовной жизни. По-

разительна быстрота, практически одновременность трансляции новых процессов, явлений, ценностей, иного рода инноваций культурно-религиозного характера, основным источником которых была в рассматриваемую и в последующие эпохи, как правило, Западная Европа. Во многом именно благодаря последнему обстоятельству периферийный средневропейский регион не превратился в задворки континента.

Противоложного характера импульсы регион получал с Востока, точнее с Юго-Востока вследствие того, что христианскую Византийскую империю заменила мусульманская империя турок-османов. Помимо непосредственного захвата ими части региона (южные области королевства Венгрии), зоной периодически повторявшихся опустошительных военных действий в течение почти трех столетий оставалась почти вся остальная часть королевства, а отчасти также Польша, Чехия, Австрия, поневоле послужившие Европе живым щитом от османских вторжений. На протяжении двух столетий австрийская столица трижды отбивала яростные штурмы грозных янычар, и именно последняя ее осада в 1683 г. стала поворотным пунктом в истории бесконечной серии антитурецких войн, в которые народы региона были втянуты уже с конца XVI в., обозначила начало заката исламского полумесяца на европейском небосклоне.

Необходимо также со всей определенностью сказать, что ни Польша, ни Венгрия, ни тем более Чехия организовать эффективный отпор османскому нашествию не сумели; произошло это от того, что эти крупные государства потерпели неудачу в деле создания сильной, централизованной государственной власти по типу абсолютных монархий западноевропейского образца.¹¹ Эту задачу взяла на себя и с

блеском осуществила маленькая Австрия, гораздо меньшая по населению и территории, чем ее средневропейские соседи, под руководством Габсбургов, династии, далеко не всегда заслуженно третируемой многими советскими, а теперь и российскими историками.¹² Ей, габсбургской Австрии, принадлежит честь и заслуга организации обороны, а затем и стратегического контрнаступления, положившего начало неуклонному отбрасыванию османов из Европы. При этом, разумеется, Австрия максимально использовала силы и ресурсы подвластных ей народов, опираясь временами на финансовую и вооруженную помощь германских государств и других стран континента. Она же выступила в роли организатора и “реорганизатора” всего средневропейского пространства.

Таким образом в течение двух веков - примерно в 1526 - 1720 гг. - объединив под своей властью Венгрию, Чехию и собственно австрийские земли, Дом Габсбургов создал основное ядро новой империи, в которую в последней трети XVIII в. вошли Буковина, затем часть Речи Посполитой (под названием Королевства Галиции и Лодомерии), а в конце XVIII - начале XIX вв. - Далмация. Тем самым средневропейский регион принял свой почти окончательный вид. (В данном случае не упомянуты Нидерланды, Ломбардия, Венеция и другие владения династии поменьше, как не относящиеся к региону, а к ядру тем более. Отчасти, может быть, и поэтому они не долго оставались в составе империи - Бельгию она потеряла в начале, а североитальянские провинции - в 50-60-х гг. XIX в.) Очень важный шаг в международно-правовой и внутривластной консолидации владений Габсбургов был сделан в 1712-1722 гг., когда сословия Австрии, Венгрии и Чехии, утвердив так называемую “Прагматическую санк-

цию”, признали “единство и неделимость” империи, а также новый принцип престолонаследия ввиду отсутствия у Карла VI мужского потомства. Прагматическая Санкция и права эрцгерцогини Марии Терезии были также признаны всеми европейскими дворами.

С именем этой великой правительницы связано начало нового этапа в истории народов Средней Европы и в буржуазно-капиталистической модернизации региона. В самом начале ее царствования империя пережила едва ли не самый драматический в своей истории кризис. В октябре 1712 г. скончался Карл VI, отец Марии Терезии. Державы,- Франция, Испания, Бавария - незадолго до того дружно признавшие Прагматическую санкцию, столь же дружно отказали в признании осиротевшей главе Дома Габсбургов. Фридрих Великий, король прусский, готов был пойти на это, но взамен потребовал воистину царственную награду - Силезию, богатейшую и самую высокоразвитую провинцию Австрии. Не дожидаясь ответа король-солдат пересек со своим войском границу. Точно также поступил и курфюрст Баварский. Радостно встреченный жителями Праги, он был тут же коронован чешскими сословиями короной Св.Вацлава. Спустя год баварца под именем Карла VII возвели на престол Священной Римской империи германской нации, короной которой династия владела почти “наследственно” с небольшим перерывом начиная с 1273 г.

Так началась знаменитая в европейской истории “война за австрийское наследство” (1740-1748) , поставившая на грань катастрофы династию, а вместе с ней и империю. Возникла реальнейшая перспектива поглощения средневропейского региона, либо значительной его части (по меньшей мере собственно австрийских и чешских

земель) Пруссией. В этой ситуации диаметрально противоположную политику сословий Чехии линию поведения избрало королевство Венгрии, хотя угроза растворения в Германии для него была менее реальна, чем для чешских земель. Венгерское дворянство решительно поддержало свою венчанную короной Св.Иштвана королеву, поклявшись защищать ее "жизнью и кровью" (*vitam et sanguinem*), предоставив в ее распоряжении то, в чем она больше всего нуждалась - деньги и войско. Империя устояла, но уже без Силезии.

Война послужила сильнейшим толчком для начала глубочайших преобразований во всех сферах жизни: государственного управления и материальной, духовной и общественной жизни, за исключением отношений собственности. Объектом реформ были - взаимоотношения помещиков и крестьянства, церковь и школа; торговля, ремесло и промышленность; Сословные учреждения, судебная и исполнительная власти, уголовное и гражданское право; система взаимоотношений с подвластными династии королевствами, странами и коронными землями.

Смысл преобразований - создание современного централизованного государства. Наиболее значительными и одновременно прогрессивными из них австро-американский учёный Роберт А. Канн, крупнейший авторитет в области австрийской истории, считает административно-судебные реформы.¹³ Таковыми мне представляются тесное слияние наследственных австро-немецких земель с чешскими в хозяйственном и административном плане, прекращение личной зависимости крестьян и существенное ограничение их повинностей в пользу помещика, создание разумно организованной и эффективно функционирующей системы образования от начальных школ до уни-

верситетов: достойно восхищения официальное провозглашение в качестве программной цели всеобщего обязательного образования детей 6-12 летнего возраста. Разумеется не сразу удалось прийти к поголовной грамотности, но основы и предпосылки были прочно заложены уже в Век Просвещения, в 1774 г. И очень скоро австрийская система образования от начального до высшего стала одной из лучших в Европе.

И деньги для этого нашлись. Венценосные реформаторы, несмотря на свою глубокую набожность, не колеблясь запустили руки в карман могущественной католической церкви, с которой весьма непочтительно обошелся Иосиф II. Из средств распущенного самим Ватиканом Ордена иезуитов, а также нескольких упраздненных венским двором в 1770-1780-х гг. других орденов и монастырей в короткий срок были возведены тысячи школ. Тем самым культурно-образовательный уровень населения ("среднего среднеевропейца"), стал той незримой, но реально существовавшей до середины XX в. чертой, отличавшей этот регион от соседних, расположенных к востоку и юго-востоку от него.

Трудно переоценить значение и последствия некоторых других акций императора в области церковной политики. Так, знаменитый "Толерантный патент", закон о веротерпимости, уравнив в правах протестантские деноминации с католицизмом, положил конец сего вековой монополии в духовной сфере. Протестанты и православные обрели не только свободу вероисповедания, но и гражданские права, поскольку было признано, что "и другие конфессии способны создавать добрых подданных".¹⁴

Затем последовал “Еврейский патент”, который избавил сильно возросшую в численности после польских разделов иудейскую этно-религиозную группу от унижений и средневековых преследований: отныне евреям разрешалось носить одежду по вкусу, молиться своему Богу, содержать школу на родном языке, селиться в городской черте, арендовать землю. Но носить они должны были немецкие фамилии. Причуда “просвещенного деспота”? Возможно.

По мнению ведущего ныне исследователя проблем йозефинизма Хельмута Райнальтера целью еврейского патента была ассимиляция еврейских подданных, в особенности вновь приобретенных вместе с Галицией и Буковиной.¹⁵ В результате к 68 тысячам евреев австро-чешских провинций прибавились еще около 185 тысяч.¹⁶ Если добавить к ним стотысячную колонию венгерских евреев, образовавшуюся частично из иммигрировавших при Карле VI и в начале правления Марии Терезии евреев Моравии и Богемии, то получится, что к концу XVIII в. империя Габсбургов обладала едва ли не крупнейшей в Европе иудейской этнорелигиозной общиной. И хотя в этнорелигиозной структуре полиэтничной монархии Габсбургов их удельный вес был невелик, но в начавшихся модернизационных процессах иудейскому элементу предстояло играть роль, непропорциональную его численности. Она была неоднозначна и противоречива. Несмотря на то, что к тянувшимся из средневековья антисемитским предрассудкам прибавились новые формы дискриминации, порожденные новой буржуазно-капиталистической действительностью, в целом еврейство благодаря целому ряду объективных и субъективных обстоятельств явилось для империи одним из интегрирующих факторов.

Наиболее динамично он проявил себя на рубеже XIX - XX вв. , когда монархия переживала бурный рост индустриализации и урбанизации. На этом фоне, как известно, одновременно происходило формирование наций, истоки которых восходят к эпохе Просвещения, неточно называемой в некоторых работах о Средней Европе эпохой "Национального Возрождения". То, что мы имеем в многонациональной империи Габсбургов, с классическим Возрождением, с Ренессансом ничего общего не имело. И "возрождаться" в общем-то было нечему. Речь шла о совершенно новых явлениях и процессах, инспирированных Просвещением и претворенных в жизнь "просвещенным абсолютизмом" австрийского образца. Приоритет здесь был не за идеями и принципами Просвещения, а за деятельностью государства, за практикой. "Общественные отношения вынудили здесь реформы, которые в других странах были начаты Просвещением".¹⁷ "Обновленческие мероприятия" в империи, полагает Роберт А. Канн, "шли не от философии, а от практики просвещения".¹⁸ Своеобразное соединение передовых идей века с нуждами государства и породило габсбургскую модель "просвещенного абсолютизма".

Отметим также, что идеи европейского Просвещения стали широко распространяться в империи, в особенности на ее национальных окраинах, спустя несколько десятилетий после начала описанных выше преобразований, особенно интенсивно в 1789 - 1795 гг., в период от падения Бастилии до разгрома заговора венгерских и австрийских якобинцев и установления в Австрийской империи реакционного режима императора Франца II. В регионе Средней Европы историческая миссия Великой революции свелась, в сущности, к продвижению идей Просвещения, его принципов и духа, которые нашли здесь более

благоприятную почву, чем революционный радикализм Робеспьера и Дантона. Носителями просветительских идей была не только разночинная интеллигенция, но и целое поколение чиновничьей бюрократии, воспитанное абсолютистской властью на реформах “просвещенного абсолютизма”. В силу отмеченных особенностей они не могли не быть умеренными даже в десятилетие единоличного правления Иосифа, “революционера божьей милостью”, по мнению одних, “деспота на троне”, по мнению других.

Модернизация создала необходимые условия и предпосылки для формирования десятка современных наций Средней Европы, их пробуждения к национальной жизни. Централизация, существенным элементом которой, по замыслу Иосифа II была германизация, привела в действие иные, весьма эффективные механизмы, стимулировавшие процессы нациообразования. К ним я отношу эффект реакции немецких народов на попытку расширить сферу употребления немецкого языка. Еще в знаменитом указе Марии Терезии “Ratio Educationis” подчеркивалось “особенная полезность” немецкого языка, указывалось на то, что он поможет “различным нациям страны легче общаться друг с другом”. Известная доля истины здесь действительно была, ибо во многих случаях немецкий играл роль “языка межнационального общения”. Напомню в этой связи, что основные, программные произведения славянского “Возрождения” были написаны их авторами по-немецки и изданы в Вене или в Пеште, которые, кстати, были подлинными культурными центрами для словаков, сербов, румын.

Форсированная централизация империи должна была, по замыслу Иосифа, сопровождаться широким распространением, весьма

напоминающим принудительное насаждение, немецкого языка в системе образования, в управлении различными землями и провинциями, а также в других сферах общественной жизни. Языковая акция Иосифа в "марксистской" историографии вплоть до 1980-х гг. почти единодушно характеризовалась как проявление немецкого национализма. Сейчас эта позиция пересматривается, в частности, чешскими и венгерскими историками. И не без оснований. Повидимому в данном конкретном случае следовало бы явление германизации в том виде, в каком она проводилась в йозефинской Австрии, отделить немецкого национализма или шовинизма. Мне представляется, что подозревать династию, Австрийский дом, с его вековыми космополитическими, "наднациональными" традициями, в подобном "противоестественном" грехе нет оснований. Нет сомнения также и в том, что император руководствовался не националистическими соображениями, а интересами единой администрации, общим языком для которой в империи мог быть только немецкий. Большинство исследователей в настоящее время согласно в том, что при этом речь шла не о каких-то "привилегиях немцам, а об осуществлении унификации".¹⁹ Это и была специфически габсбургская германизация без элемента немецкого национализма. Однако именно так она воспринималась современниками и, позже, историками. В том числе и самими австрийскими немцами. Еще при жизни Иосифа II они называли его "немецким императором", "Иосифом Немецким".²⁰ Не случайно, что особенно распространенным это прозвище было среди немецкоговорящих жителей чешских земель, где уже в конце XVIII в. между ними и чехами появились первые трещины на почве языкового национализма. В целом же обе автохтонные этнические общности чешских зе-

мель вели в те времена вполне мирное сосуществование и эффективно друг с другом сотрудничали. В области культуры, обычно наиболее благодатной для разжигания националистических страстей, оно было столь тесным и плодотворным, что дало основание говорить о “чешско-немецком научном и культурном симбиозе” в XVIII в. К такому выводу пришел в последней своей монографии “Чехо-венгерские параллели” профессор из Брно Рихард Пражак.²¹

Бросить открытый вызов абсолютистской централизации из всех подвластных Габсбургам стран осмелилась лишь Венгрия, да отдаленная от имперского ядра Бельгия, которая будучи во всех отношениях западноевропейской страной, шла своим путем, развиваясь по законам своего региона.

Самый многообещающий в истории Средней Европы эксперимент, называемый “просвещенным абсолютизмом”, закончился со смертью Иосифа Габсбурга, скончавшегося 20 февраля 1790 г. На смертном одре он подписал отречение от всех своих указов за исключением двух - об освобождении крестьян от крепостной зависимости и патента о веротерпимости. И все это произошло, когда европейский континент входил в новую эпоху - эпоху Французской революции, которая по логике вещей должна была, казалось бы, дать делу модернизации, столь усердно осуществлявшейся Иосифом, новое ускорение.

Трагедия Иосифа II заключалась, как считали его современники, и как полагают современные летописцы, в том, что он опережал свое время.²² Отчасти это так, но только отчасти. Ибо “просвещенный абсолютизм” в средневропейском регионе и Французская революция в Европе делали, в сущности, одно и то же дело: они демонтировали

властные структуры и социальные институты “старого режима”, расчищая почву для нового этапа модернизации. Разница состояла главным образом в методах и средствах достижения аналогичных в общем-то целей. В одном случае цель достигалась революционным путем, стоившим моря крови, в другом - эволюционным, реформистским, гораздо более медленным, но без кровавых эксцессов и без потрясения основ. В империи упор делался на реформированную и строго подчиненную государству католическую церковь, а также и прежде всего - на чиновничество. Успешно вытеснив из сферы исполнительной власти феодальные сословия и сословные институты, выпестованное Иосифом II плюралистическое по этническому составу, но с преобладанием чешского и немецкого элемента, австрийское чиновничество с течением времени сделалось одним из главных интегрирующих факторов в империи. “Основные Принципы для каждого слуги государства” были сформулированы самим императором в его знаменитом “Пастырском послании”, которым руководствовалась в своей работе австрийская чиновничья рать.²³ Без ее усердных трудов ему едва ли удалось бы издать за десять лет своего царствования 11 тысяч (!) законов и 6000 декретов.²⁴

Низложив Бурбонов, победоносная революция возвела на пьедестал власти и истории Нацию - окружив ее неувыдающим по сей день ореолом. Успешный опыт венгерского сопротивления иозефинской административной германизации послужил поощряющим примером для остальных народов империи и самого королевства Венгрия. В механизме пробуждения к национальной жизни той или иной этносоциальной общности, осознания ее членами своей принад-

лежности важное место занимал и занимает эффект подражания другим, особенно если и когда этим “другим” оказывался близкий сосед. Эффект действовал с удвоенной силой в тех случаях, когда участников такого процесса связывали друг с другом отношения особого рода - господства и подчинения, либо соперничества. Примерно по такой схеме развивались процессы и в империи Габсбургов. Благодаря Французской революции стремление к национальной свободе и равенству сделалось явлением всеобщим, получив таким образом определенную легитимацию. Ставшая популярной в годы Французской революции у молодой национальной интеллигенции народов монархии идея “общественного договора” Ж.-Ж. Руссо получила широкое распространение стараниями самого Иосифа II и усилиями многонациональной плеяды йозефинистов уже после смерти императора. Причем каждая из заинтересованных сторон интерпретировала концепцию “общественного договора” по своему: Иосиф, а вслед за ним и его брат Леопольд II - в пользу государства и династии, утверждая, что именно управляемые ею народы обязаны неукоснительно соблюдать договор. Представители последних в свою очередь ссылались на него обосновывали законность и “естественность” своих притязаний на свободу и национальное равенство. Общественный договор особенно пригодился тем народам империи, которые не имели своего национального дворянства и не располагали традициями собственной государственности. К таковым относились словаки, словенцы, русины (украинцы), вlahи (румыны), сербы. Магьяры, чехи, отчасти также поляки подкрепляли свои домогательства, ссылаясь на историческое право, хотя вступили уже в стадию формирования нации современной, а не феодальной, когда все большее значение приобретали этно-

культурные факторы. Широко и достаточно эффективно пользовалась историческим правом венгерская политическая элита, сумевшая поставить конституционные права венгерской короны на службу формирующейся мадьярской нации буржуазной эпохи. Тем более, что эти права ни династией, ни кем-либо другим формально не оспаривались, а наоборот неоднократно подтверждались даже в документах имевших международно-правовой характер.

В особой атмосфере, созданной в Европе Французской революцией, никак не могли остаться в стороне от повального общеевропейского увлечения национальной идеей и народы габсбургской империи. Становление современных наций в Австрии и Венгрии, подчас весьма различных по уровню развития и зрелости, происходило с различной степенью интенсивности и с разницей во времени, хотя и во временных рамках единой для всего региона эпохи Просвещения.

“Обновленческое движение, процесс становления нации, - пишет Эмиль Нидерхаузер, - у венгров начались раньше, чем у многих других восточноевропейских наций, в том числе тех, что жили в исторической Венгрии”.²⁵Некоторая асинхронность процесса, в принципе не столь существенная, как и известные качественные различия в характере зарождавшихся в конце XVIII в. национальных движений, были обусловлены социальной структурой (полной либо неполной) складывавшихся национальных обществ, их предшествующим историческим опытом, традициями, политической культурой и государственно-правовым статусом (обладание государственностью либо ее рудиментами) в системе владений Австрийского дома.

Из сказанного следует, что “просвещенный абсолютизм”, гигантски ускорив формирование региона Средней Европы, консолидировал его в единое целое. Однако уже в конце XVIII в. в державе Габсбургов почти одновременно с интеграционной тенденцией появились первые признаки и противоположной ей тенденции - дезинтеграционной.

Примечания.

¹ См. эссе Ено Сюча в этом сборнике.

² Hanak P. Central Europe: A Historical Region in Modern Times. A Contribution to the Debate about the Regions of Europe // DAEDELUS, v. 119. N 1. 1990, p.58-69.

³ Цитата заимствована мною из статьи видного социолога и государственного деятеля Австрийской Республики д-ра Эрхарда Бусека “Новая Европа от самоопределения к интеграции”. Бусек, неустанный и активный пропагандист идеи Средней Европы и равноправного участия стран региона в общеевропейском интеграционном процессе, утверждает: “История Европы не следует никаким принципам законности. Европа подобна реке. Европа находится в движении. Европа есть движение. Европа есть проект.” Busek E. Das Neue Europa von der Selbstbestimmung zur Integration // West-Ost Journal. Österreich-Bericht. 1992. N 145. S. 2

⁴ Цит. по Palmer A. Metternich. London, 1972, P. 286. См. также Haas A. Metternich and Slavs // Austrian History Yearbook, 1968 - 1969, P.129 - 149

⁵ Kosáry D. Újjáépítés é polgárosodás 1711-1867. Magyarok Európában III. Budapest, 1990. P.131.

⁶ Сказкин С.Д. Основные проблемы так называемого "второго издания крепостничества" в Средней и Восточной Европе. // Вопросы истории. 1958. N 2.

⁷Niederhauser E. A nagy francia forradalom és Kelet Europa // Nemzetközi Munkásmozgalmi Évkönyv 1993. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Budapest, 1993. P.262.

⁸См. ввводную статью к этому сборнику.

⁹Подробнее см.: Исламов Т.М., Фрейдзон В.И. Переход от феодализма к капитализму в странах Западной , Центральной и Юго- Восточной Европы // Новая и Новейшая история. 1985. N1.

¹⁰Речь Посполитую с Востоком прочно связывала не только география (тогдашняя Польша занимала обширные пространства восточноевропейской лесостепной зоны от Балтики и пределов Московского государства до Северного Причерноморья, и включала в себя не только этнически польские территории, но и Литву, Белоруссию и Украину), но и ее геополитические интересы, выраженные в устойчивой польской устремленности вглубь восточноевропейского региона вплоть до самой Москвы. Можно таким образом сказать, что Польша, будучи восточной частью Средней Европы, в определенные периоды своей истории относилась к обоим регионам одновременно.

¹¹См.: Шмидт С.О., Гутнова Е.В., Исламов Т.М. Абсолютизм в странах Западной Европы и в России (опыт сравнительного изучения). // Новая и новейшая история. 1985. № 3.

¹²Иного мнения на этот счет придерживался знаменитый британский историк Э.Тэйлор: " В истории других стран династии обычно представляют собой эпизод в истории народа; в Габсбургской империи народы являются фактором , осложняющим историю династии... Ни одна династия не существовала так долго и не оставила такой глубокий след в Европе: Габсбурги были величайшей династи-

ей современной истории, и история Средней Европы вращалась вокруг них, а не наоборот." *Taylor A.J.P. The Habsburg Monarchy, 1809 - 1918: A History of the Austrian Empire and Austria - Hungary. New York, 1965, p.88.* Сегодня с этим мнением солидаризируются все крупнейшие авторитеты. Жану Беранже, в частности, импонирует то, что Габсбурги и в пору расцвета национальной идеи и патриотизма "никогда не идентифицировали себя с одной нацией и редко какая-либо нация идентифицировала себя с ними." *Bérenger J. Histoire de l'empire des Habsbourg. 1273 - 1918. Paris, 1990. P.739.*

¹³ *Kann R.A. Werden und Zerfall des Habsburgerreiches. Graz-Wien-Köln. 1962. S: 99.*

¹⁴ *Klingenstein Gr. Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert. München, 1970. S.67; Reinalter H. (Hrsg.). Der Josephinismus. Bedeutung, Einflüsse und Wirkungen. Wien, 1993. S.12.*

¹⁵ *Reinalter H. Der Josephinismus. S. 12. Idem. Am Hofe Josephs II. Leipzig 1991.*

¹⁶ *Schmidl E.A. Davidstern und Doppeladler. Jüdische Soldaten in Österreich-Ungarn.// Österreich in Geschichte und Literatur. 1991. N.1. S. 16.*

¹⁷ *Reinalter H. Aufgekürter Absolutismus und Revolution. Zur Geschichte des Jakobinertum und der frühdemokratischen Bestrebungen in der Habsburgermonarchie. Wien, Köln, Graz. 1980. S. 50-51*

¹⁸ *Kann R.A. Kanzel und Katheder. Studien zur Österreichischen Geistesgeschichteschichte vom Spätbarocc bis zur Frühromantic. Wien.1962. S. 127*

¹⁹ *Sutter B. Die politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Österreich 1848-1918.// Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Hrsg.v. A. Wandruszka und P.Urbanitsch. 1Teilband. (Die Völker der des Reiches). Wien, 1980. S.179. Heindl W. Bürokratie und Verwaltung im*

österreichischen Neoabsolutismus. // Österreichische Osthefte. Wien, 1980.

²⁰Wandruszka A. Op.cit S.170.

²¹Pražák R. Cseh-magyar párhuzamok. Budapest 1991. 38-39.l.

²²Gonda I., Niederhauser E. A Habsburgok. Budapest, 1977. 143-144.

Замечу, что первый обобщающий труд об Иосифе II написан российским ученым Павлом Павловичем Митрофановым (1873-1917) - Политическая деятельность Иосифа II, ея сторонники, ея враги. 1780-1790. (Спб., 1907). Ему принадлежат также книги: История Австрии. (б.м.. 1910) и Леопольд II Австрийский. (Петроград, 1918).

²³Die österreichische Zentralverwaltung. II. Abteilung . Bearbeitet von F. Walter. Bd.4. Wien, 1961-1972 . Bd.4. S. 123-132.

²⁴Megner K. Beamte. Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte des k.k. Beamtentums. Wien 1985. S.30.

²⁵Niederhauser E. A Nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Budapest, 1977. 84.

Алексей Миллер

Институт славяноведения и балканистики РАН

Центрально-Европейский Университет

Авторитарный и тоталитарный опыт

Центральной Европы

События 1918 г. в Центральной Европе часто описывают как рождение национальных государств и триумф националистического принципа "одна нация - одно государство". В действительности картина сложнее. Во-первых, два из возникших на развалинах Австро-Венгрии государств без принуждения формируются как многонациональные - Чехословакия и Югославия. В Польше вопрос о федеративном, многонациональном государстве, наследующем традиции Речи Посполитой, лежал в основе конфликта политических элит. В Австрии большая часть населения не ставила австрийскую идентичность выше общенемецкой.

Во-вторых, послевоенные государства Центральной Европы вернее называть не национальными, но национализирующимися, стремящимися к культурной и политической ассимиляции многочисленных и многообразных национальных меньшинств. Многие из этих меньшинств имели центр притяжения за границей, порой в виде государства, где их нация была господствующей (например, немцы в Чехословакии и Польше, венгры в Румынии), так что требования расширения прав меньшинств воспринимались как

потенциальная угроза целостности государства, тем более что все наследники Австро-Венгрии не были вполне довольны своими границами и имели территориальные претензии к соседям. (Реализовать эти претензии некоторые страны Центральной Европы попытались накануне и в ходе Второй мировой войны.) Проблема национальных меньшинств в странах Центральной Европы не могла получить удовлетворительного решения и неизменно служила источником напряженности на протяжении всего межвоенного периода. Крах империи Габсбургов изменил структуру национальных конфликтов в Центральной Европе, но не избавил от них регион.

Мало оправдались и другие либерально-демократические надежды. Вряд ли можно утверждать, что в большинстве стран Центральной Европы был достигнут существенный и устойчивый прогресс в области политических свобод и прав личности по сравнению с довольно либеральной обстановкой последних десятилетий габсбургского правления.

Режим, установившийся в Польше в середине 20-х, польский историк Анджей Фришке назвал плюралистическим авторитаризмом.¹ Это справедливо и для других стран региона. Имеется в виду, что, отказавшись от демократических форм осуществления власти, правящие элиты не стремились к установлению всеохватывающего контроля над обществом, к идеологической монополии и устранению с политической арены всех конкурентов. Иначе говоря, им был чужд тоталитарный идеал. В то же время "партии власти" манипулировали выборами и использовали псевдопарламентскую систему в собственных интересах как инструмент легитимации уже принятых в узком бюрократическом кругу решений.

Также и политические партии в большей степени строились на принципах личной преданности лидеру, чем на идейной общности. Джордж Шопфлин отметил еще одну общую черту политической жизни межвоенной Центральной Европы, а именно особую роль закрытых групп, как правило военных, связанных неформальными личными связями, основанными на каком-либо общем экстраординарном опыте.² Примером могут служить легионеры Пилсудского, офицеры чешского корпуса, прошедшие сибирскую эпопею, или венгерские офицеры, участвовавшие в белом терроре 1919-1920 годов. Многие черты такой политической системы должны быть легко узнаваемыми для современного российского читателя.

Таким образом, имитируя устройство парламентских демократий, страны Центральной Европы не смогли в межвоенный период создать сильное и единое гражданское общество, во многом из-за остроты социальных и национальных противоречий, а также из-за того, что правящие группы не были заинтересованы в их преодолении. Эти обстоятельства дали Дж. Шопфлину, попытавшемуся вообразить возможное послевоенное развитие стран Центральной Европы при отсутствии советской доминации, право предположить, что во многих из них становление демократии проходило бы далеко не гладко, а по образцу, сходному с послевоенной Грецией с ее режимом "черных полковников".

Для оценки политической ситуации, сложившейся в большинстве стран Центральной Европы в начале 30-х годов, важно определить "вектор перемен", а именно направление эволюции общественных настроений и политического спектра. Повсеместно

происходила политическая радикализация общества, и в первую очередь усиление правого радикализма.

Если посмотреть на Европу межвоенного периода, то очевидно, что тоталитарная угроза выступала не только в России, Германии, Италии - то есть в тех странах, которые принято вспоминать в первую очередь, когда речь заходит о тоталитаризме - но в большинстве стран континента, и особенно остро в тех, которые переживали запаздывающую модернизацию. Преобразования в этих странах были сжаты во времени, в значительной мере принудительны, то есть процесс не носил органического характера. Издержки этих перемен усугубились мировым экономическим кризисом конца 20-х, который отозвался в странах Центральной Европы особенно длительной депрессией в 30-е годы.

Страны первой волны капитализма успели - не сразу и не просто - выработать к концу XIX века новый, либерально-христианский культурный синтез, а с ним и способность вытеснять на периферию несистемные тоталитарные идеологии и политические течения. Страны же европейской периферии вступили в пришедший на первую половину XX века период глобальной политической и экономической нестабильности, переживая внутри социума кризис традиционной социальной структуры и ценностей. Новые либерально-демократические ценности и организационные формы носили здесь поверхностный, часто имитационный характер, и именно их сторонники вытеснялись на периферию политического процесса в ходе кризиса. Между тем эта кризисная ситуация возникает в то время, когда тоталитарный процесс уже сделал свой первый шаг, поскольку в первые десятилетия XX века во многих

странах Европы сформировались тоталитарно ориентированные группы как левого, так и правого толка. Главными участниками политической борьбы в странах европейской периферии в межвоенный период были, с одной стороны, старые, часто аристократические элиты, пытавшиеся найти опору для своего авторитарного правления в традиционных структурах и ценностях, и претендовавшие на роль новой элиты группировки, являвшиеся носителями тоталитарных идеологий левого (коммунистического) или правого (фашистского) толка. За счет эклектичности своих идеологий, позволявших причудливо сочетать в "послании массам" популистские, прогрессистские и традиционалистские элементы, такие группы получили неплохие шансы мобилизовать массовую поддержку культурно и социально "осиротевших" людей, потерявших или боящихся потерять привычную социальную нишу. Это, собственно, и есть вторая стадия тоталитарного процесса - возникновение тоталитарно ориентированных движений.

В Центральной и Юго-Восточной Европе в межвоенный период за исключением первых послевоенных лет заметно более активны и влиятельны были правые тоталитарные группировки. Причина вероятно в том, что они могли лучше эксплуатировать столь сильный в регионе потенциал ксенофобии и шовинизма, в то время как коммунисты не без оснований рассматривались как агенты СССР, который в регионе воспринимали как главный источник внешнеполитической угрозы.³ Так или иначе, но политический процесс в странах Центральной и Юго-Восточной Европы межвоенного периода, за исключением Чехословакии, можно описать как борьбу между авторитарной тенденцией, связанной в основном со

старыми элитами, и агрессивными новыми право-тоталитарными группировками, происходившую на фоне эскалации национализма, а также антисемитизма и других форм ксенофобии.

Приход Гитлера к власти в Германии безусловно повлиял на усиление фашистских тенденций в Центральной Европе. И дело не только в том, что некоторые силы рассматривали нацистов как возможных союзников против общих врагов - евреев, коммунистов, соседей. Другие, воспринимая Гитлера как угрозу, видели единственный способ защиты в копировании нацистской тактики милитаризации и мобилизации общества на националистической основе. Вообще, важная характеристика политического развития стран Центральной Европы в межвоенный период - высокая степень зависимости от международного контекста, от соотношения сил между ведущими державами, представлявшими разные политические ориентации. Контекст этот был крайне неблагоприятен: регион был сдавлен двумя агрессивными тоталитарными колоссами, в то время как западные демократии переживали политический и экономический кризис. Можно сказать, что в предвоенное десятилетие столь характерный для истории Центральной Европы "синдром сдавленности" достиг своего апогея.

Между тем, ни в одной из стран Центральной Европы тоталитарно ориентированные группы не сумели прийти к власти. И не везде, где это все же произошло, как в романских странах, они смогли сломить сопротивление общества той тотальной дезинтеграции, которая является условием строительства "нового порядка". Пример Италии, Испании, Португалии показывает, что даже захват власти тоталитарно ориентированным движением не

всегда означает, что шарик находится на гладкой наклонной плоскости, что тоталитарный процесс может беспрепятственно развиваться дальше по своим собственным законам. Что блокировало, где до, а где после захвата власти, развитие этого процесса? В каждом конкретном случае набор факторов будет разным, но в общем решающее значение, как представляется, имеет прочность домодернизационных структур на момент возникновения политически воплощенной тоталитарной угрозы. Можно предположить, что если традиционные структуры, несмотря на размывание в процессе модернизации, оказывались способны сохранить определенный запас прочности, они могли стать препятствием тоталитарному процессу, хотя и на более поздней стадии, чем структуры общества модернизированного. Не трудно, например, заметить, что блокировка произошла в странах с сильной католической церковью. Заслуживает также внимания роль монархии и аристократии в сдерживании тоталитарной угрозы.

Вторая мировая война стала весьма важным этапом в развитии тоталитарного процесса в Центральной Европе. Часть стран региона попала под власть нацистского оккупационного режима, а часть стала его союзниками-сателлитами. Именно здесь развернулась трагедия *Endlosung*'а. Деструктивное значение опыта этого времени, когда выбор повседневно приходилось осуществлять за границами морально допустимого - тема очень болезненная и потому недостаточно изученная.

Таким образом история тоталитаризма как процесса начинается в странах Центральной Европы задолго до прихода туда Советской Армии и установления коммунистических режимов.

Изучение этого "досоветского" периода совершенно необходимо для понимания того, что и как происходило в этих странах после Второй мировой войны.

При всей остроте национальных конфликтов в межвоенной Центральной Европе, при всем многообразии форм этнической дискриминации государства региона придерживались определенных, и достаточно жестких, конвенциональных ограничений. Именно периоды безвластия, связанные с войной или революцией, эти ограничения ломали. Этнические чистки и другие формы открытого насилия в этнических конфликтах впервые прокатились по Центральной Европе в 1918-1921 годах (например, польско-украинские столкновения в Галиции, польско-немецкие в Силезии, венгерско-румынские в Трансильвании). Эти практики вернулись во время Второй мировой войны, но в несравненно более широких масштабах, поскольку теперь они уже часто были инструментом государственной политики тоталитарных режимов, и в поразительно жестоких формах. Этот опыт был воспроизведен в регионе и в первые послевоенные годы, в том числе и на уровне государственной политики - этнические чистки немцев и украинцев, еврейские погромы имели место во многих странах региона в 1945-1948 годах. Десять лет - с 1939 по 1948 - невосвратимо разрушили этно-культурное многообразие, во многом определявшее специфику региона.

Довоенный и военный опыт сыграл большую роль в ослаблении сопротивляемости тоталитарной угрозе. Истощение общества, человеческие потери, массовые миграции, разрушавшие микросоциум, могут быть отнесены к этим факторам. Особый исследовательский интерес представляет проблема ослабления

"имунной системы", разрушения моральной сопротивляемости как на личном уровне, так и на уровне социума. За годы войны многие типичные для тоталитаризма практики стали привычными. Чтобы понять это, достаточно прочитать рассказы Тадеуша Боровчика. "Бог умер" - таков был итог военного опыта для многих людей в этой части континента. Широко распространенным стало ощущение, что либерализму, демократии просто не находится места в "этой" жизни. Отсюда у многих интеллектуалов возникала готовность смириться с коммунизмом как с меньшим злом, или же как с такой "исторической" правдой, которая может и противоречить личным представлениям о правде и справедливости. Не случайно польский историк В.Куля сравнивал приход Советов и того нового порядка, который они несли, с нашествием варваров на Рим, а марксизм с ранним христианством.⁴ Он убеждал себя и читателя преодолеть чувство внутреннего отторжения по отношению к этой грубой и чуждой силе, и увидеть за ней историческую закономерность и перспективу. Разнообразные попытки поисков интеллектуального "примирения" с послевоенной действительностью описаны многими авторами. (Из известных мне наибольший интерес представляет "Порабощенный разум" Чеслава Милоша.) Также не случайно, что в этой атмосфере в Чехословакии, где антирусские настроения ввиду различия в историческом опыте были слабее, чем в соседних странах, действительно свободные выборы 1946 года дали коммунистам больше голосов, чем любой другой партии.

В литературе достаточно подробно описано, как тоталитарные режимы решали свои задачи после прихода к власти. Наиболее адекватно отражает динамику процесса модель,

предложенная Леонардом Шапиро в книге "Тоталитаризм". Шапиро предпочитает говорить о "контурах" режима: лидере-вожде, подавлении правового порядка, стремлении к контролю над частной моралью, постоянной мобилизации и легитимации режима через массовую поддержку.⁵

Все эти "контуры" присутствовали в практике режимов, установленных в регионе после прихода Советской Армии. Период с 1944 по 1948 год можно условно назвать подготовительным, когда многие элементы гражданского общества, вплоть до политических партий, официально не были поставлены вне закона, и сохраняли подлинную, хотя и постоянно сужавшуюся автономию.

С 1948 г. мы можем вести речь о "горячем" периоде развития тоталитарного процесса во всех без исключения странах советского блока. Эта "горячая" стадия характеризуется форсированными и неприкрытыми усилиями режимов, направленными на тотальную атомизацию общества, разрушение всех автономных структур, полный прерыв традиции. Террор становится открытой, перманентной и доминирующей практикой, а Страх, им нагнетаемый, превращается в повседневный элемент жизни. Режим на практике начинает претендовать на исключительную легитимность и заявляет претензии на тотальный контроль над всеми сторонами социальной активности и личной жизни подданных.

Именно на этом этапе развития тоталитарного процесса мы можем наиболее отчетливо проследить стремление воплощенных тоталитарных режимов к достижению той идеальной модели, которая описывается с помощью "тоталитарного синдрома" К.Фридриха и Зб.Бжезинского и других концепций, построенных по сходному

нормативному принципу. При всем различии исходных точек, то есть характеристик разных обществ на момент начала "горячей" фазы, и исходных идеологических установок, в "горячий" период тоталитарные режимы демонстрируют в своих практиках и тенденциях развития все возрастающее сходство, что и позволяет исследователям выделять их в особый тип.

Однако эта точка притяжения воплощенных тоталитарных режимов, этот тоталитарный идеал существует лишь как мыслительная конструкция, которую можно представить путем проекции обозначившихся тенденций тоталитарного процесса. И в этом смысле можно вполне согласиться с замечанием П.Дьюкса, что такие модели отражают не столько то, что произошло в реальности, сколько то, чего опасались невольные участники и наблюдатели процесса⁶. Оруэлловский кошмар бесконечного тоталитарного пароксизма, равно как и замятинский образ стерилизованного общества "людей-номеров" оказываются именно вариантами идеальной невоплотимой модели.

Дело в том, что в сам тоталитарный процесс встроены определенные экономические, социальные и политические механизмы, которые позволяют говорить о неизбежной ограниченности стремления к тоталитарному идеалу. (Мне уже приходилось писать об этом довольно подробно.⁷)

В данном случае для нас важно, что продолжительность "горячей" стадии, ее результаты и механизмы выхода из нее оказались в странах региона качественно разными. В странах Центральной Европы, то есть Польше, Венгрии, Чехословакии этот этап был прерван в результате общественного сопротивления уже во второй

половине 50-х - начале 60-х годов. "Горячая" стадия в этих странах не охватила жизни целого поколения, и глубина трансформации общества (как на уровне структур, так и на уровне ментальности) оказалась ограниченной. Можно говорить, если воспользоваться весьма распространенной до недавнего времени терминологией, о странах "развитого" и "недоразвитого" тоталитаризма. В последнем случае живая ткань общества была разрушена качественно меньше, традиция и механизмы ее передачи, хотя бы на уровне семьи, не были вполне прерваны. Там же, где "горячий" период поглотил одно или более поколений, процесс высвобождения от тоталитаризма выглядит не как выход на поверхность не утерянных вполне ценностей и навыков, но как попытка обрести их заново. В этой связи одной из важных исследовательских задач представляется проведение определенного рода "инвентаризации" тех элементов гражданского общества, ментальности, традиции и исторической памяти, которые выжили в странах Центральной Европы даже в условиях "горячей" фазы. (Впрочем, в глазах пессимиста, например С.Фишера-Галати, процесс высвобождения от тоталитаризма может выглядеть и как возврат к старым недугам этого региона.⁸⁾

Очень важную роль в прерыве "горячей" фазы в странах Центральной Европы сыграло изменение внешнего контекста, а именно начало "остывания" (если продолжить выбранный образный ряд) процесса в самом СССР после смерти Сталина. Но этот фактор нельзя и переоценивать, поскольку в других странах советского блока - Румыния может послужить здесь самым ярким примером - "горячая" фаза не была прервана и террористические практики продолжали оставаться одним из главных элементов политики

режима. Жесткость политики румынского или, например, албанского режимов в 60-е и 70-е годы превосходила, пожалуй, жесткость режима в самом СССР. Даже Болгария, неизменно остававшаяся, в отличие от упомянутых выше стран, предельно лояльной в отношении Москвы, тоже демонстрирует эту тенденцию.

Упомянутые выше обстоятельства указывают на наличие целого ряда важных исследовательских проблем. Во-первых, какие механизмы предопределили разные пути развития тоталитарного процесса в странах Центральной Европы и странах Европы Юго-Восточной? Вряд ли мы сможем найти удовлетворительный ответ на этот вопрос, анализируя лишь послевоенные события. Роль Трансильвании и Восточной Галиции, то есть регионов, принадлежавших до I мировой войны Центральной Европе, в сопротивлении тоталитарному процессу подсказывает, что социокультурные корни интересующего нас различия весьма давние.

Во-вторых, само наличие зависимости от Москвы существенно смазывает логику процесса. С одной стороны, для Центральной Европы, мы, конечно, можем говорить о его затягивании. С другой, для таких стран как Болгария и особенно Румыния, есть веские основания в связи с событиями 1989 года говорить о роли Москвы в ускорении краха тоталитарных режимов. Стоит, вероятно, подумать о построении по крайней мере двух различных моделей роли СССР в развитии тоталитарного процесса в странах-сателлитах.

С другой стороны, развитие стран советского блока свидетельствует о наличии хотя и ограниченного, но весьма существенного, допускающего качественные различия, вэра

альтернатив в постсталинский период. История тоталитарного процесса в этих странах не может быть описана только как история внешнего влияния. Даже применительно к странам Центральной Европы необходимо проследить соотношение между сопротивлением тоталитаризму и той внутренней поддержкой, которую режимы сумели мобилизовать. Собственно, описание тоталитарного процесса можно представить как описание непрерывного изменения этого соотношения, причем не только в его активных проявлениях, но также, а может быть и прежде всего, в скрытых формах, на уровне ментальности, ценностных ориентаций, трудовой мотивации, общественного настроения.

Какого рода вопросы должны быть при этом поставлены? Например, важно было бы выяснить, когда в том или ином обществе был на массовом уровне преодолен барьер страха? Или, когда произошло решительное отчуждение от официальной идеологии? Ответы не очевидны. Стоит напомнить, например, что участники оппозиционного митинга в Варшавском университете в 1968 г. пели "Интернационал". В данном случае неважно, по каким соображениям они это делали, важно, что это было возможно, в то время как в 1980 году уже нет. Равно как и Пражская весна 1968 г. жаждала социализма с человеческим лицом, тогда как в 1989 Прага уже не захотела слушать сохранившего идеалы 1968 г. З.Млынаржа.

Фаза "остывания" тоталитарного процесса наименее осмыслена в концептуальном отношении. И это естественно, ведь до 1989 г. логика процесса не была выявлена вполне.

Два крайних подхода к этой проблеме связаны с именами Ханны Арендт и Алена Безансона. Уже в 50-е годы Арендт весьма

чутко уловила, что после смерти Сталина в СССР произошли качественные изменения, но сделала из этого неверный вывод, что после 1953 г. к СССР и другим социалистическим странам нельзя применять термин тоталитаризм. Неудовлетворительность этого тезиса вскоре вынуждены были признать сами его последователи, пытавшиеся описывать послесталинские реалии как авторитаризм. Этот "авторитаризм" настолько отличался от того, что было принято прежде называть этим термином, что пришлось говорить о "посттоталитарном авторитаризме" со смысловым ударением на первом слове, чтобы передать ту специфику, которую приобретает общество, пережившее "горячую" фазу тоталитарного процесса.

Со своей стороны А.Безансон, описывая тоталитаризм как паразитическую систему, эксплуатирующую ресурсы, накопленные обществом, говорил об "оттепелях", как о передышках, которые режим сознательно предоставляет обществу для нового накопления ресурсов перед очередной "горячей" фазой. Речь шла, таким образом, о концепции бесконечной, чуть ли не сознательно регулируемой цикличности. Очевидно, что в основе рассуждений Безансона лежал советский опыт перехода от военного коммунизма к НЭПу с последующим возвратом. Ошибка заключалась уже в том, что эти события происходили на весьма растянувшейся в СССР восходящей стадии тоталитарного процесса, а потому не могут служить аналогией для принципиально отличных условий стадии остывающей, когда режим теряет идеологическую инициативу и мобилизационные возможности. За малыми циклами Безансон не увидел большого цикла.

Весьма интересную и более соответствующую представлению о тоталитаризме как процессе концепцию предложил позднее З.Млынарж, опирающийся в своих рассуждениях на кибернетический подход Карла Дойча.⁹ Если принять, вслед за Дойчем, что сущность власти это не методы, а степень контроля над действиями подданных и каналами распространения информации, то, по мнению Млынаржа, в 60-е и 70-е годы тоталитарные режимы демонстрировали даже большую, чем прежде, устойчивость, поскольку были в состоянии контролировать всякое независимое действие, что и есть главная характеристика режима, даже не прибегая к методам открытого террора. То есть, как сформулировал Ж.Рупник, режимы оказались способны перейти в отношениях с обществом от социального контроля к социальному контракту. В этом много правды. Все это бесконечно многообразное море компромиссов с режимом, на которые шло подавляющее большинство людей - предмет для внимательного изучения историка. Было бы весьма опасно сегодня сосредоточиться лишь на изучении сопротивления тоталитаризму. Это может повлечь за собой искажение реальных пропорций и превратить писания историков в инструмент достижения душевного благополучия или воспитания школьников младших классов.

Главный порок концепций Млынаржа, Безансона, равно как и многих российских исследователей, пользующихся, например, понятием "застой" для описания брежневской эпохи, в том, что они упускают из виду весьма интенсивные процессы разложения, происходящие в самих властных структурах тоталитарных режимов на этапе "остывания" процесса. Размывание социальной базы

режимов, в том числе и номенклатуры - не менее важный фактор, предопределивший упадок режимов, чем сравнительная

экономическая неэффективность и нарастание сопротивления.

Что же касается сопротивления, то наряду с его открытыми и активными формами важным, хотя и заметно более трудным для изучения, представляется скрытое сопротивление "маленького человека", выработавшего иммунитет к мобилизационным усилиям тоталитарных режимов и постепенно превратившего жизнь общества в необъявленную, но всеобщую забастовку.

В заключение замечу, что послевоенная история стран советского блока, в том числе и Центральной Европы, не только недостаточно исследована историками, но и в значительно меньшей степени, чем более ранние периоды, является сегодня их, историков, "исключительной собственностью". Эта история еще слишком жива, слишком присутствует в нашем сегодня, чтобы не стать полем сведения политических счетов и связанных с этим сознательных искажений и умолчаний. Мы стоим только в начале пути подлинного осмысления тоталитарного опыта этой части Европы.

Примечания.

¹*Friszke A.* O kształt niepodległej. Warszawa, 1989. S.275.

²*Schopflin G.* The Political Traditions of Eastern Europe. Daedalus. 119, N.1, 1990. P.73.

³Стоит отметить, что национальная проблема могла становиться средством мобилизации поддержки и для коммунистов. Так, очевидно, что значительная часть поддержки, полученной Венгерской Советской республикой внутри страны, была связана с надеждами на то, что Б.Кун сможет внести перелом в борьбу с Румынией.

⁴*Kula W.* Rozważania o historii. Warszawa, 1961.

⁵*Shapiro L.* Totalitarianism. London, 1972. См. также реферат книги в кн. "Тоталитаризм: что это такое?" Ч.2. М., ИНИОН, 1993.

⁶*Dukes P.* From Soviet to Russian History. // History Today. Vol.43, August 1993, p.10.

⁷*Миллер А.И.* Тоталитарный процесс в Центральной и Восточной Европе и проблемы его изучения. // Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995; *Миллер А.И.* Тоталитаризм как исторический феномен. // Преподавание истории в школе. N.4, 1991.

⁸*S.Fisher-Galaty.* Eastern Europe in the Twentieth Century: "Old Wine in New Bottles". // The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century. Ed.by *J.Held.* N.Y., 1993.

⁹*K.Deutsch.* The Nerves of the Government. N.Y., 1966. О работе Млынаржа см. *J.Rupnik.* Totalitarianism Revisited. // The Civil Society and the State: New European Perspectives. ed.*J.Keane,* London, Verso, 1987 P.173-176.

Павел Кандель

Институт Европы РАН

"Посттоталитарность" как теоретическая проблема и региональная характеристика

Привычно ныне обозначать страны Центральной и Восточной Европы, да и государства на территории бывшего СССР, как постсоциалистические или посттоталитарные. Это определение через прошлое, негативная характеристика, заменяющая еще не родившуюся позитивную, не случайно. Оно точно фиксирует местоположение стран на оси исторического времени. Их дистанция от своего прошлого все еще меньше, чем отрезок пути до желанной цели - "возвращения в Европу", а трансформирующаяся реальность все еще не обрела достаточной качественной определенности.

Странам региона можно придать и субрегиональные наименования, определив их как центральноевропейские и балканские. И такое обозначение содержательно: учитывая историко-культурные различия и уровень социально-экономического развития государств двух субрегионов, обособление постсоциалистической Центральной Европы выделяет зону повышенной предрасположенности к "возвращению". Подобное деление, правда, подспудно предполагает однозначно решенным давний теоретический спор: тип ли социального строя или цивилизационная принадлежность определяет развитие той или иной страны или группы стран? Но лишь сам характер посттоталитарного развития

может если не закончить дискуссию, то обогатить ее весомыми аргументами. Только успех (или неудача) в самопреодолении посттоталитарности в региональных (или субрегиональных) рамках даст ответ на вопрос - насколько отделена Центральная Европа от Юго-Восточной, а весь регион - от постсоветского мира?

Амбивалентность сегодняшнего состояния стран региона усиливается изначальной двусмысленностью формулировки намеченной цели. "Возвращение в Европу" предполагает, с одной стороны, внутреннее уподобление государствам Западной Европы и слияние с ней во всеевропейских экономических, политических и оборонных структурах, ориентируя на движение к общему будущему, хотя и с сущностно различных исходных позиций. С другой стороны, сама метафора "возвращения" подразумевает восстановление межвоенного прошлого, в котором и единой Европы не существовало, и страны региона (за исключением Чехословакии) по уровню социально-экономического развития и характеру политических режимов принципиально отличались от западноевропейских.¹ Само сохранение разных уровней развития и разнокачественности обществ в двух частях Европы, как и характер противоборствующих идейно-политических ориентаций в странах Центральной и Восточной Европы, подтверждает, что речь идет не об игре слов, но о противоречивости проблем. Разрешение этих проблем является для стран региона делом сегодняшней исторической практики, а для теории - задачей не только новой, но и не имеющей подготовленных предшествующим развитием предпосылок.

Крах коммунизма, как идеологии и системы, предрекаемый некоммунистической общественной мыслью на протяжении

десятилетий и сознательно ею подготавливаемый, даже ее застал врасплох. Уже это свидетельствует, что эвристические возможности господствующих в общественной науке парадигм явно недостаточны для объяснения причин крушения коммунистического тоталитаризма. Логично предположить, что "разрешающая способность" наличного инструментария общественной науки недостаточна и для объяснения и прогнозирования посттоталитарной реальности.

Осмыслению посттоталитарного развития препятствуют и более значимые теоретические сложности. Смена общественного строя всегда событие уникальное. Падение коммунизма столь же беспрецедентно, как некогда крушение капитализма в значительной части мира, начавшееся в октябре 1917 г. И так же, как реальный общественный строй, называвшийся социализмом, оказался мало похожим и на свой теоретический эталон, и на идеалы "могильщиков капитализма", так и подлинная природа посттоталитарного общества вовсе не предопределена "демократическими" самоназваниями исходных революционных преобразований, а результат - избранными европейскими ориентирами. Правда, в отличие от марксистского теоретического видения, современное европейское общество дает практически уже реализованный образец, а объединяющаяся Европа является мощным центром экономического, политического и идейного притяжения, причем уже безальтернативным после развала СССР. Но правда и то, что Европа не извела и не знает путей достижения своего нынешнего состояния из такого отправного пункта, как тоталитаризм социалистического типа.

Любая смена общественного строя, вне зависимости от ее "бархатной" или грубой формы, означает революцию - разрыв

преемственности, нарушение последовательности и логики предшествующего развития. Прежние механизмы детерминации исторического процесса уже отказывают, новые - еще не вступили в силу. Наступает ситуация, которая российским историческим сознанием опознается как "смутное время". Эта переходная ситуация может быть определена и иначе: как нециклический перелом в развитии или нормативно-институциональный вакуум. Пользуясь терминологией признанного авторитета философии нестабильности И.Пригожина, такое дезорганизованное и деструктурированное состояние социальной материи уместно обозначить как "точку бифуркации" (раздвоения). Умозрительно-теоретически можно говорить об исторической развилке, где будущее принципиально не предопределено и становятся едва ли не равновероятными различные направления последующего общественного развития.

В реальности, однако, объективно революционному процессу сознательно были заданы эволюционные формы протекания. Антикоммунистическая оппозиция и не желала, и не имела достаточно сил для насильственного ниспровержения строя, правящие режимы уже не были готовы защищать его любой ценой. Демонтаж социализма был осуществлен реформистски, а само существование в рамках нового строя мощных посткоммунистических партий говорит о сохранении элементов преемственности. Такая противоречивая ситуация публицистам определенного толка дает повод для разговоров о "проданной революции" и "реставрации коммуны", а для теории остается открытой проблемой.

Сделав не вполне правомерное допущение, что идеальная теоретическая модель тоталитаризма адекватна реальности, следует

признать, что крах тоталитарного общественного организма должен чрезвычайно повышать степень неопределенности и роль случайностей в последующем историческом движении. Ведь развал системы, где власть слиплась с собственностью, государство - с партией, экономика - с политикой, а идеология - с бытом, где тоталитарный общественный организм заместил собой едва ли не все общественные институты и социальные связи, означает больше, чем смену экономического уклада, политического режима или даже общественного строя. Уместнее говорить о конце определенной цивилизации, хоть это слово и звучит диссонансом применительно к тоталитаризму. Но из этой преднамеренно теоретически заостренной посылки вытекает, что степень расхождения между идеальной моделью тоталитаризма и ее реальным воплощением значима и для объяснения причин, характера и последствий антитоталитарных революций.

История свидетельствует, что внутреннее перерождение и саморазложение тоталитаризма началось задолго до его окончательного крушения. В сущности после окончания сталинистского этапа социализма стал развиваться процесс "детоталитаризации", в результате которого система к моменту крушения утратила свое главное системообразующее качество - тотальность. С началом реформ 60-х годов строй, принципиально неререформируемый, стал претерпевать вынужденную и развивающуюся подспудно плюрализацию. Подобная эволюция, особенно заметная в Венгрии, Югославии, Польше, в последние годы перестройки охватила Болгарию, Чехословакию и даже ГДР, перед самой ее кончиной. И если рассматривать ликвидацию

тоталитаризма как процесс, не сводя его лишь к дате формального отстранения от власти монопольно правившей коммунистической партии, то становится понятным, почему политический переворот не сопровождался социальным катаклизмом.

Стоит упомянуть и об еще одной теоретической проблеме, значимой для судеб посттоталитарного развития. Капитализм длительное время вызревал и развивался эволюционно и стихийно в порах старого общества. Нынешняя попытка вернуться к капитализму осуществляется революционно, и новый строй насаждается сознательно. Происходит своего рода "декретирование капитализма", по выражению польского ученого Л.Захера², что придает процессу черты искусственности и механического отрицания прежней системы. Порок вполне марксистский, почему не случайны сегодня антикоммунисты вполне большевистского чекана. Подобный "вручную управляемый процесс" особенно чреват волонтаризмом и многочисленными деформациями. Отсюда следует еще одно противоречие посттоталитарного периода: с одной стороны, смена тоталитарной общественной организации плюралистической предполагает принципиальную дерегуляцию общественной жизни, с другой - возникающий на переходе социальный и институциональный вакуум - следствие недостаточности общественной самоорганизации, объективно повышает роль исполнительной и законодательной власти. Определенной, хоть и не безусловной гарантией от искажений посттоталитарного развития является то, что само "декретирование" следует заданному европейскому образцу и историческое движение осуществляется в

мощном поле экономического и политического тяготения, создаваемом ЕС.

Демократия и тоталитаризм в их реальном историческом воплощении - это не только и не столько реализация определенных идеологических принципов или теоретических моделей. Это скорее процесс и одновременно результат долговременного упражнения в определенной политической и социальной практике. Следовательно, ни низвержение идейных кумиров коммунизма и его идейная делегитимация, ни разрушение его институциональной структуры сами по себе не гарантируют от мутаций тоталитаризма и попыток возрождения элементов тоталитарной практики в новом обличьи (например, националистическом или клерикальном). Но оказавшаяся экономически несостоятельной государственная монополия собственности и однопартийная монополия на власть, лишившаяся основ своего существования, уже невосстановимы.

Вместе с тем и желаемое будущее - общество европейского типа - в Центральной и Восточной Европе по крайней мере труднодостижимо. Страны региона, утратив привилегированное место в "социалистическом лагере" и экономические дотации Советского Союза - плату за политическую лояльность и стратегическое союзничество, - по основным показателям социально-экономического развития оказались на уровне многих стран третьего мира. Не исключено поэтому, что и капитализм здесь может обрести черты латиноамериканского. Вопреки романтическим иллюзиям не только берлинская стена отделяла Восточную Европу от Западной³, что особенно видно в ныне единой Германии. Многомиллиардные вливания преобразили экономику бывшей ГДР, но "осси" и "весси" все

еще ощущают свою инородность. И в межвоенный период, когда "стена" проходила по границам СССР, Центральная и Восточно-Центральная Европа оставалась "Востоком" Европы. В то же время в годы социализма этот регион сохранял свою "особость" и по уровню и качеству жизни, и по характеру политических режимов, являясь своего рода "Западом" мировой социалистической системы. Логично допустить, что, и распрощавшись с социализмом, странам региона не просто будет избавиться от этой исторической особенности. История - довольно капризная "машина времени". И из сегодняшнего пространственного и временного зазора "возвращение в Европу" может поневоле привести не в то время и не на то место.

Некоторые из подобных особенностей связаны с самим процессом ликвидации коммунистического тоталитаризма в странах Центральной и Восточной Европы. Первая и наиболее значимая - тоталитаризм не был низвергнут, он самораспался. Компартии (за исключением Румынии) мирно и, по существу, добровольно сдали власть.⁴ Более того, они сами признали историческую несостоятельность "реального социализма" и взяли на собственное вооружение, не важно сколь искренне, идеи рыночной экономики, гражданского общества, правового государства и политического плюрализма. В большинстве стран региона это было отчасти вынужденной уступкой, но в Венгрии, Польше, Хорватии и Словении - сознательным выбором реформистского руководства компартий, которые и начали демонтаж существовавшего строя. Хотя движение в этом направлении стимулировал и безысходный социально-экономический кризис⁵, и нарастающая политическая напряженность,

за которой вставал призрак нового 1956 года, все же степень податливости власти заметно превышала уровень давления на нее.

Не менее интересно, что антитоталитарные (точнее антикоммунистические или еще вернее - направленные против правящих партий) революции, при всем своем антикоммунистическом пафосе, по существу, вдохновлялись социалистическим общественным идеалом. Вспомним: наибольшее неприятие протестующих масс вызывали проявления социального неравенства и социальной несправедливости (привилегии, коррупция, бюрократизм правящей элиты, самовольные власти и бесправие рядового гражданина).

Показательна и география антитоталитарных революций, проливающая дополнительный свет на причины краха тоталитаризма и характер последующих посттоталитарных преобразований. Известно, какое большое воздействие оказали события 1968 г. в Чехословакии на идейно-политическую ситуацию в регионе, а особенно в государствах Центральной Европы. Постоянным источником антитоталитарного брожения выделялись и объективно являлись Польша и Венгрия, где в 1989 г. и начались наиболее решительные антитоталитарные преобразования, давшие пример и остальным странам региона. Между тем прорыв тоталитаризма произошел не там, где в соответствии с марксистским диагнозом его следовало ожидать. Считалось, что угроза внутренней стабильности социализма особенно велика в странах со значительными остатками частного сектора или относительно недавно осуществивших его окончательную ликвидацию, со сравнительно большей долей крестьянского населения. Иначе говоря, страны, где государственная

собственность еще не устоялась, где структура народного хозяйства и социальная структура были недостаточно модернизированы.

В реальности, однако, исторический процесс развивался иначе. Крестьянство, в том числе и частнособственническое (как в Польше и Югославии), оставалось в основном политически пассивным. Да и в целом аграрно-индустриальные в недавнем прошлом страны (в первую очередь Юго-Восточной Европы) оказались в арьергарде антитоталитарной волны. Лидерами же выступили те страны, где тоталитаризму противостояли развитая идейно-культурная традиция, сильная и влиятельная интеллигенция, достаточно укорененный городской образ жизни, мощная католическая церковь, традиционно автономная от государства и самим фактом своего существования подрывавшая идейную и моральную монополию партии-государства.

Водораздел прошел как бы по границе двух субрегионов, отделяющей Европу Центральную от Европы Юго-Восточной. Логично предположить: предшествующая история Центральной Европы и то, что можно назвать "социальной генетикой" стран этого субрегиона, обеспечили живучесть иного варианта общественного развития, большую степень сопротивления тоталитаризму и ускоренное его разложение.

Показательно и то, что до падения коммунистических режимов вопросы собственности не были в центре общественного внимания - свидетельство неклассового характера сопротивления. Наконец, антитоталитарные движения получили особый размах там, где антикоммунизм мог быть органично соединен с антисоветизмом, получая мощную подпитку ущемленного национального чувства.

Таким образом, "реальный социализм" потерпел крах в первую очередь там, где его идейная монополия была изначально ограничена и недостаточно легитимирована общественным сознанием. Это и логично для общественного строя, структурообразующей основой которого являлась не собственность, а власть, не интерес, а идея.

Эти примечательные черты антитоталитарных преобразований подводят к принципиальным теоретическим выводам о социальных силах, бывших и являющихся их носителями. На первый взгляд, отчасти подтверждаемый и логикой, и историческими фактами, основным субъектом оппозиционных выступлений должны были быть интеллигенция и студенчество. Это и понятно: именно этот социальный слой по самому своему положению является единственным конкурентом, способным оспаривать монополию на власть партийно-государственной бюрократии. Именно он непосредственно - и в сфере своей основной деятельности - ощущал давление идейно-властной монополии тоталитарной системы. Однако в посттоталитарном обществе не власть, а собственность становится источником социальной дифференциации и основой доминирующего общественного положения. В условиях такого общества, по мере его становления, исчезает потребность, а следовательно, и возможность самостоятельной политической роли интеллигенции (в качестве социальной группы) как единственного носителя контртоталитарной идеологии и монопольного выразителя антитоталитарного потенциала общества. Низвергнув своего противника, интеллигенция тем самым одновременно лишила и себя особой общественной роли и социального статуса, уступая свое место новой элите, формирующейся на базе приватизированной собственности.

Вместе с тем самораспад тоталитарной системы свидетельствует, что немалая часть партийно-государственной бюрократии, которая на предшествующей стадии ее разложения фактически стала группой достаточно самостоятельных держателей "своей" доли "общественной собственности", была заинтересована в ликвидации системы и легитимации нелегально "приватизированной" собственности и общественной мощи.⁶ Превращение возникшего еще в недрах старого порядка "бюрократического рынка", по выражению В.Найшуля⁷, в рынок легальный было в их интересах. Но это означает, что и в посттоталитарный период этот слой остается влиятельнейшим субъектом общественного развития и мощным претендентом на доминирующие экономические и политические позиции. Он вступает в борьбу групповых интересов и привносит в нее собственные элементы неформальной самоорганизации авторитарно-патерналистского характера и свойственных ему общественных отношений "клиентельного" типа.⁸ Ситуация организационного, институционального и нормативного вакуума благоприятствует уже существующим, оформившимся групповым интересам и унаследованному "обычному праву", элементам общественных отношений и неформальных структур предшествующего общественного строя. Таким образом, на переходном периоде происходит смена субъекта антитоталитарного движения: интеллигенция, "исполнявшая обязанности" его лидера, уступает место иным общественным силам - новым собственникам и сменившим социальную роль представителям прежней "номенклатуры". Само же посттоталитарное развитие, являвшееся на начальном этапе главным образом проекцией идеологической и

теоретической модели общества европейского типа, все более определяется борьбой групповых интересов. Логично, что его окончательная форма и суть определится не первоначальной моделью, а исходом происходящих социальных конфликтов.

В переходный период меняется, однако, не только субъект преобразований. Происходит и подмена их целей в противоречии с доминирующим общественным идеалом социального равенства. Антитоталитарные движения, получившие массовую поддержку именно с позиций этого идеала, в переходный период ее естественно утрачивают, поскольку избранный темп и метод преобразований способствуют формированию общества ярко выраженных социальных различий, не признаваемых легитимным общественным сознанием. Определенная эволюция мировоззрения произошла, и большинство, по-видимому, готово было бы признать социальные различия, связанные с неравным трудовым и интеллектуальным вкладом, уверовать в эффективность частного предпринимательства, тем более приносящего ощутимые плоды на потребительском рынке. Но экспансия спекулятивного капитала и финансовые аферы, криминализация частного сектора, гримасы первоначального накопления и рост насильственной преступности, повсеместная коррупция, на фоне спада производства, резкого падения уровня жизни большинства населения и масштабной безработицы не только противоречат идеалу социального равенства. Дискредитируется и идея социального неравенства как выражения социальной справедливости.

В крайне неблагоприятном социально-экономическом положении оказался так называемый "средний класс" - массовая

опора антитоталитарного движения в начальный его период и теоретически предполагаемая основа социальной стабильности нового общества. В результате посттоталитарных преобразований и его материальное положение значительно ухудшилось, и социальный статус существенно понизился как абсолютно, так и относительно. В сущности с экономическими реформами новой власти начался процесс активного размывания прежнего "среднего класса" и резкой социальной поляризации, значительно превосходящей европейские стандарты.⁹

Логичным следствием стало полевение электората и победы левых сил на выборах в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии, упрочение ими своих позиций в Румынии и Албании. Особо примечательны их победы в Польше и Венгрии, в странах, не только бывших лидерами реформ, но и в основном добившихся осуществления главных целей макроэкономической стабилизации, первыми начавших выход из кризиса. Но социальная цена экономических достижений оказалась непомерно высокой, а потому и политически неприемлемой. Еще более красноречивым подтверждением этой тенденции являются довольно прочные позиции, удерживаемые Партией демократического социализма в восточных землях Германии, и тоска по прошлому, обогатившая немецкий язык выразительным новообразованием "остальгия".

Победа социалистов, в целом завершивших внутреннюю эволюцию от партий коммунистического типа¹⁰, не означает ни попыток возвращения в тоталитаризм, ни даже разворота к "обновленному социализму". Ведь в большинстве случаев речь идет о тех самых политических силах, которые и являлись зачинателями

реформ и демонтажа "реального социализма". И мандат они получили на продолжение движения к обществу европейского типа. Но их победа уже означает, что первоначально избранная траектория этого движения и его цена общество не устраивает. Само "возвращение" левых к власти в рамках демократических процедур свидетельствует об упрочении демократии в Центральной и Восточной Европе. И сохранение ими основ посттоталитарного порядка, и коалиции с политическими силами иной ориентации подтверждают их интегрированность в новое общество. Вместе с тем резкое качание политического маятника, быстрый перепад общественных настроений говорят о том, что политическая жизнь в странах региона далека еще от избранного европейского эталона.

Впрочем и в этом едином для посттоталитарного мира процессе можно усмотреть субрегиональные особенности. В странах Центральной Европы "декоммунизация" - степень преобразования структур и социальных практик прежнего режима - выше, чем у их соседей в Юго-Восточной Европе или в постсоветских государствах (за исключением прибалтийских), где социально-политические силы "старого порядка" лишь ненадолго отступили от власти или даже сохранили ее, сменив идеологию. В то же время и сами левые в Центральной Европе трансформировались и "европеизировались" больше, чем в другом субрегионе, где соблазн национализма остается привлекательным средством социального реванша "слева".

Хорошее представление о динамике общественного сознания дают социологические опросы, начиная с 1990-1991 гг. проводимые ежегодно по инициативе Европейской комиссии в странах Центральной и Восточной Европы.¹¹ Графики, отражающие

отношение населения к рыночной экономике, управлению страной, уважению прав человека и удовлетворенность уровнем развития демократии, показывают, что после первоначального всплеска позитивных настроений (в 1990-1991 гг.) происходит почти повсеместная и весьма значительная эрозия доверия.

Примечательно, что с точки зрения удовлетворенности развитием демократии число пессимистов весьма значительно и стабильно превышает число оптимистов во всех странах региона. По уровню разочарования в демократии лидируют Болгария и Словакия, но и в Польше, Венгрии и Румынии степень неудовлетворенности демократией выше, чем в Албании. Преобладание позитивных оценок над негативными в отношении характера управления страной отмечено лишь в Албании и Чехии, а в числе стран, население которых особо недоволено положением с правами человека, значатся не только Болгария и Румыния, но и Польша.¹²

Уместен парадоксальный, но реалистический вывод: наилучшей средой обитания идеала демократии и позитивного образа капитализма и рынка является тоталитарное общество. Такая ситуация отчасти естественна и нормальна. Претворение любого идеала в действительность неизбежно сопровождается разочарованием, а нескрываемое выражение постоянной неудовлетворенности достигнутым уровнем демократии и есть характерная черта демократического общества. Но в обществе переходном сильное разочарование в основных ценностях нового порядка может свидетельствовать и об исчерпании исходного импульса преобразований, обеспечивавшего необходимую и достаточную скорость движения.

Подобные умонастроения соответствуют неоднозначности посттоталитарных преобразований в политической сфере. Во всех государствах Центральной и Восточной Европы сложилась демократическая политическая система парламентского типа, достаточно далеко продвинулся процесс формирования крупных и относительно устойчивых политических партий.¹³ Удалось избежать масштабных социальных потрясений, угрожающих демократическому правопорядку, который выдержал пиковые перегрузки экономического кризиса. Лево- и праворадикальные силы остались на обочине политического процесса. Смена власти осуществляется нормальным демократическим способом. Вместе с тем наблюдаются и периодические попытки расширения президентских полномочий за пределы конституционных рамок, и покушения исполнительной власти на независимость средств массовой информации, и агрессивные нападки на всех "левых" с целью вытеснить их из политической и общественной жизни. Дают о себе знать тенденции клерикализации общества, ощущается тяга определенных сил к реставрации довоенного прошлого, досоциалистических ценностей и порядков. Все это мало совместимо с "возвращением в Европу" и объективно означало бы утрату стратегического ориентира не только в историческом пространстве, но и в историческом времени.

Сохраняется, таким образом, различный в разных странах региона разрыв между нормативно-институциональным строением политической системы, соответствующей европейскому образцу, и политическим режимом, обремененным многочисленными типичными региональными особенностями недемократического свойства. Еще более значим диссонанс между перенятой европейской структурой

политических институтов и "неевропейской" социальной структурой. При углублении этого противоречия нельзя поручиться, что растущая социальная напряженность может быть исчерпана чередованием умеренно-левых и умеренно-правых в рамках парламентской демократии. В таких условиях и самой парламентской демократии непросто сохранять содержание, адекватное ее сути. Примечательны выводы венгерского социолога Андраша Гергея: "Программа смены строя, приверженная либерализму и нацеленная на демократию, получила приоритет прежде, чем были созданы необходимые для этого экономические, общественные и политические условия капитализма. Поэтому сейчас еще безнадежно ожидать, чтобы многопартийность, не имеющая корней в обществе, отражала, представляла общественную структуру. Такое положение имеет место во всех странах нашего региона... Однако детские болезни переходного периода превратились в хронические проблемы организационной структуры и, главным образом, в связи с вопросом обуржуазивания. Без исторической буржуазии с ее стабильной ролью и без экономического и общественного контроля снизу и изнутри государство, не очень склонное к самоограничению, берет на себя роль заместителя общества, усиливая старые' принудительные средства в технике управления и оттесняя на второй план гражданское общество, способствовавшее созданию нового политического устройства".¹⁴

И действительно, всплеск общественной самодеятельности и политической активности в начале антитоталитарных преобразований сменяется вскоре социальной и политической пассивностью и апатией. Логично связывать установление

социального строя европейского типа с сохранностью и возрождением гражданского общества. Однако оно в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и в досоциалистический период было недостаточно зрело и воспроизводило политические режимы, страдавшие серьезными изъянами с точки зрения демократии.

Отличительные характеристики тоталитарного строя: преобладание политики над экономикой, государства - над обществом, политической воли - над экономическим интересом, - не вполне преодолены и в переходный период. Ведь и сам процесс трансформирования начался и наиболее далеко продвинулся в политической сфере, где сформировалась новая политическая система и новая политическая элита. В области экономики результаты преобразований менее эффективны.

Подобный вывод может показаться странным на фоне успехов большинства стран региона, и особенно центральноевропейских, в макроэкономической стабилизации и снижении инфляции, начавшегося экономического роста. Вслед за Польшей, вышедшей из полосы спада в 1993 г., рост ВВП в 1994 г. наблюдался почти во всех странах Центральной и Восточной Европы. Также почти повсеместно динамика инфляции обнаруживает выраженную тенденцию к снижению. Однако в строгом смысле слова последовательная политика макроэкономической финансовой стабилизации оказалась не под силу ни одному из государств этого региона на протяжении сколько-нибудь длительного времени. В реальности заметны "маятниковые" колебания: периоды ужесточения кредитно-финансовой политики, способствующие уменьшению инфляции,

неизбежно сменяются периодами монетарной и финансовой экспансии, призванной ослабить спад хозяйственной активности и социальную напряженность. Весьма примечательно при этом, что эти периодические перемены курса имеют малое отношение и к идеологизированным теоретическим спорам "шоковиков" и "градуалистов", "монетаристов" и "дирижистов"¹⁵, и к смене политических сил у кормила. При внимательном анализе выясняется, что В.Клаус - наиболее яркий представитель экономического либерализма - сохраняет довольно высокий уровень государственных социальных расходов, а финансово-кредитная политика польских социал-демократов временами оказывается более жесткой, чем у их предшественников.¹⁶ Все это подтверждает, что и высокая регулирующая роль государства, и волнообразное движение экономической политики являются отражением объективных проблем стран региона.

Вместе с тем остаются сомнения в устойчивости наметившегося экономического подъема, опирающегося пока на поверхностные и быстро исчерпывающиеся источники роста. Сложнее и длительней, чем первоначально ожидалось, оказался процесс преобразования отношений собственности и формирования рыночных субъектов хозяйствования. И если "малая приватизация" в странах региона в основном завершена, процесс приватизации крупных промышленных предприятий разворачивается медленно, а нередко и формально, когда к частным предприятиям относят и акционерные общества со стопроцентным участием государства. Впрочем, приватизация сама по себе не предопределяет эффективности хозяйствования и не решает задач структурной

перестройки промышленности. Между тем уровень безработицы, который во многих странах региона превосходит показатели, считающиеся "социально опасными", ограничивает возможности ускорения структурных преобразований на крупных предприятиях. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают заметный оптимизм в отношении к рыночной экономике лишь в Албании и Румынии, а в странах - лидерах реформ (Польше, Чехии, Венгрии) ощутим сильный и постоянный спад энтузиазма, несмотря на начавшийся экономический рост. В Словакии и Болгарии число пессимистов сравнялось с количеством оптимистов.¹⁷ Все это позволяет предположить, что политическая демократия в странах региона еще довольно долго не будет иметь адекватной социальной и экономической базы.

К внутренним факторам, усложняющим посттоталитарную трансформацию, уместно добавить и внешние. Стоит обратить внимание на все более настойчивые, а временами приобретающие истерический оттенок требования лидеров региона о скорейшем и безотлагательном приеме в НАТО и ЕС. Вместе с тем наблюдается вынужденное повторное оживление интереса к восточным рынкам, связи с которыми в предшествующий период казались обременительными узами.

Разумеется, стремление войти в ЕС и НАТО отвечает изначальной евроцентристской стратегии стран региона. Повторное обращение к восточным рынкам, хотя бы в качестве временного резерва, рационально выправляет первоначальные излишне романтические представления и в принципе не противоречит европейским приоритетам. Но сама вынужденность этой

рационализации уже показательна. Явственное неприятие той поступательной интеграции в европейские структуры, которая предписывается западными партнерами, судорожное стремление ее ускорить вне зависимости от степени объективной готовности, свидетельствует не только о последовательной реализации избранной стратегии.

Об осмысленной стратегии трудно говорить и потому, что тенденция к активизации экономических связей с Россией соседствует с попытками ускоренного вступления в НАТО, которые в России воспринимаются как стратегическая угроза. Между тем стремление стать восточным форпостом НАТО также не случайно: увеличение своей геополитической значимости в глазах западных партнеров - единственное средство повысить их заинтересованность в судьбах региона. Таким образом, речь идет о желании внешними факторами и гарантиями "европеизации" восполнить и скомпенсировать все более осязаемую нехватку внутренних ее источников.

Вместе с тем все более очевидные трудности экономического сращивания государств региона с ЕС, и все более угрожающая цена, которую ЕС придется заплатить за эту интеграцию¹⁸, отодвигают сроки возможного обретения Европой экономической, политической и военной целостности. И если ЕС не сделает выбор на основе чисто политических критериев (скажем, под влиянием событий в России), то прием в ЕС даже первоочередных кандидатов (Чехии, Польши, Венгрии, Словении) видится делом достаточно отдаленным.

В этом контексте посттоталитарное развитие предстает как очередная и наиболее далеко идущая попытка стран Центральной и Восточной Европы вырваться за пределы традиционных для региона

пространственных и временных координат между Западом и Востоком. Однако посттоталитарность, даже обеспечив определенный сдвиг на запад как во внутриобщественном развитии государств региона, так и в их международном положении, все же остается характеристикой исторически промежуточного периода. При исчерпании внутренних источников движения и отсутствии внешних посттоталитарность может стать стабильной характеристикой полумодернизовавшегося общества, формой его консервации и исторического бытования. И тогда Центральная и Восточная Европа, слившаяся разорвать свою сопряженность с постсоветским миром, на новом историческом этапе и в новых формах вновь окажется в наследственных отношениях с историей и географией.

Примечания.

¹См., напр.: *Janos A.C. Continuity and Change in Eastern Europe: Strategies of Post-Communist Politics. // East European Politics and Societies. 1994. Vol.8, N 1. P.1-31.*

²*Захер Л. Падение коммунизма. Что дальше? // Социс, 1994. N 3. С.144-145.*

³См., напр.: *Ян Э. Где находится Восточная Европа? // МЭиМО, 1990. N 12. С.67-78.*

⁴Подробнее см.: *Восточная Европа на историческом переломе (Очерки революционных преобразований 1989-1990 гг.). М., 1991.*

⁵Подробнее см.: *Major I. Decay of the Command Economies. // East European Politics and Societies. 1994. Vol.1, N 2. P.317-357.*

⁶См., например: *Domanski R.S. The Quest for Ownership. // East European Economics. 1994. Vol.32, N.2. P.71-94.*

⁷См.: *Найшуль В. Ключ к реформам находится в нерыночной сфере. // Общественные науки и современность, 1994. N 4. С.5-7.*

⁸*Афанасьев М. Клиентела в России вчера и сегодня. Полис, 1994. N1. С.124-126.*

⁹Подробнее см.: *Соколова С. Формирование среднего класса в Восточной Европе. // МЭиМО, 1994. N 4. С.133-139; Лучкина Л.*

Доходы населения в странах Восточной Европы и в России. Там же, 1994. N 11. С.170-175.

¹⁰Подробнее см.: *Timmerman H.* Die KP-Nachfolgeparteien in Osteuropa. Aufschwung durch Anpassung an nationale Bedingungen und Aspirationen. // *Berichte des Bundesinst. für ostwissenschaftliche und intern. Studien.* Köln, 1994. N 31.

¹¹См.: *Central and Eastern Eurobarometer. Public opinion and the European Union (18 countries' survey)*, 1995. N 5.

¹²*Ibid.*, p.37-42.

¹³Подробнее см.: *Политические партии и движения Восточной Европы: Проблемы адаптации к современным условиям.* М., 1994

¹⁴*Гергей А.* Смена строя и макроструктура. // *Баланс.* Правительство Венгерской Республики, 1990-1991. - Будапешт, 1994. - С.89.

¹⁵Содержательный обзор этих дискуссий см.: *Жукровска К.* Преобразование переходного периода: теория и практика. // *МЭиМо*, 1995. N6. С.114-120.

¹⁶*Глинкина С.* Экономические реформы: первая пятилетка. // *Общественные науки и современность*, 1995. N 3. С.56-57.

¹⁷*Central and Eastern Eurobarometer*, 1995. N 5. P.37-42.

¹⁸Подробнее см.: *Welfens P.J.* Die Europäische Union und die mitteleuropäischen Länder. Entwicklungen, Probleme, politische Optionen. // *Berichte des Bundesinst. für ostwissenschaftliche und intern. Studien.* Köln, 1995. N 7. S. 21-23, 28-32; *European Economy. Report and studies.* Brussels, 1994. N 6. The economic interpenetration between the European Union and Eastern Europe.

Александр Чубарьян

Институт всеобщей истории РАН

Россия и Центральная Европа

Тема "Россия и Европа" постоянно находится в центре внимания ученых и публицистов, общественных деятелей и политиков. В XIX веке она раскалывала русское общество, что нашло отражение в спорах "западников" и "славянофилов".

Речь шла о путях развития России, о ее месте и роли в истории и в будущей долгосрочной перспективе. В поле зрения общественности были оценка петровских преобразований, сущность реформ и реформаторов в XVIII-XIX столетиях и многие другие вопросы.

В этих дискуссиях обсуждались географические, социальные, политические и прочие аспекты взаимоотношений России и Европы. Объективная сложность ситуации объяснялась тем, что Россия действительно находится и в Европе, и в Азии. Для многих это стало основанием для выдвигания концепции России как моста между Европой и Азией, для пропаганды так называемой "евразийской цивилизации".

История ясно показывает, что, начиная с глубокой древности, Россия многими нитями была связана с Европой. Это были, во-первых, экономические и торговые связи. Древняя Русь активно торговала с восточной, западной, южной и северной Европой. Этому содействовали общие речные и морские пути и другие факторы.

Во-вторых, Россия составляла неотъемлемый компонент европейской культурной идентичности. Речь идет и о схожих культурно-исторических процессах (европейское Возрождение, Просвещение), и о широком взаимодействии деятелей русской и европейской литературы и искусства.

В-третьих, Россию связывала с Европой общность судеб, их общая заинтересованность в обеспечении безопасности континента. Россия постоянно входила во все международно-политические системы, существовавшие в XVIII-XIX веках.

• Жители России постоянно ощущали себя европейцами и в антропологическом, и в культурно-психологическом, и в политическом плане.

В геополитическом контексте Россия оказывала глубокое воздействие на европейскую политику. Разумеется, в первую очередь это касалось западных соседей России. Но и положение таких стран, как Франция или Англия, Швеция или Сербия в значительной мере было связано с политикой России. Для одних Россия выступала как защитница их интересов или союзник. Для других от России исходила угроза и опасность.

В некоторых европейских странах существовала многолетняя и устойчивая традиция добрососедства и симпатии к России; в других - сложились антирусские стереотипы. Но и в том, и в другом случаях образ России не сходил с политической сцены.

Нечто подобное происходило и в самой России, которая в течение многих десятилетий поддерживала тесные и весьма дружеские связи и отношения со многими европейскими странами и народами.

Союз с Францией поддерживался схожестью многих геополитических интересов, представлявших особое значение для баланса сил в Европе. Англия и Россия как бы окаймляли континентальную Европу со стороны запада и востока.

С северными европейскими странами Россия имела прочные связи на Балтике и в северном регионе.

Юго-Восточная Европа традиционно представляла для России зону особых интересов. Черное море представляло собой место встречи цивилизаций, связывая Россию со Средиземноморьем.

И конечно для России постоянное значение имели отношения с Германией.

В общей европейской политике, в европейском культурном контексте большое и важное место принадлежало Центральной и Восточной Европе.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что сам термин "Центральная Европа" был достаточно условен и подвижен.

В современных условиях среди историков и политиков, общественных деятелей и дипломатов снова усилился интерес к выделению Центральной Европы. В значительной мере этот процесс активизирован появлением теоретических трудов и конкретно-аналитических разработок в научном сообществе Чехии и Словакии, Венгрии, Польши и Австрии.

В этой связи встает вопрос о том, что из себя вообще представляет Центральная Европа. Является ли она только географическим понятием или за этим стоят какие-то компоненты историко-культурного и политического свойства.

Для понимания этого вопроса весьма важно с самого начала определить, каковы чисто географические границы Центральной Европы. На этот счет в истории имелось немало весьма противоречивых суждений.

По мнению некоторых ученых и политиков, Центральная Европа включает в себя как главное ядро Германию и соседние с ней страны - Австрию, Чехию, Швейцарию, Венгрию. Но в других оценках Центральная Европа трактовалась значительно более расширительно, включая в себя и многие восточноевропейские государства.

В некоторых кругах существовала и существует поныне идея, что Центральная Европа - это территория между Германией и Россией.

Такой широкий разброс мнений связан как с факторами объективного, так и субъективного свойства.

Объективно их смысл определялся неясностью самого термина и понятия Центральная Европа, подвижностью (особенно в прошлом столетии) европейских границ. Но в большей степени на восприятие и понимание этого термина влияли чисто политические мотивы, связанные с политическими и экономическими целями и интересами тех или иных европейских держав в этой части Европы.

Для понимания этих дискуссий значительный интерес представляет собой история одного из первых проектов "срединной" или Центральной Европы, который был выдвинут в начале нашего столетия немецким общественным деятелем Фридрихом Науманом и опубликован в 1915 году.

Вообще-то идея "Срединной Европы" имела свою историю. Она восходила к Меттерниху и Фридриху Листу, о ней вспоминали в связи с событиями 1848 и 1860 гг. О величии "Срединной Европы" любил рассуждать Бисмарк. Идея "Срединной Европы" была, как правило, связана с судьбами Австро-Венгрии. И тогда много спорили о географических границах возможной "Срединной Европы", эти споры лишний раз показывали политический смысл идеи центральноевропейского единства.

Фридрих Науманн с самого начала предупреждал, что создание "Срединной Европы" - "дело нелегкое, и для его осуществления недостаточно какого-либо одного акта и решения. На это потребуется не менее полувека."

Науманн пытался доказать, что "Срединная Европа" имеет свою собственную историю, и объявлял "срединноевропейскими" фигурами Карла Великого, Рудольфа Габсбургского, Максимилиана и Карла V.

С эпохой Наполеона I он связывал начало следующего периода истории "Срединной Европы", а из политических деятелей более позднего времени всячески превозносил Бисмарка: "Если бы Бисмарк мог воскреснуть, чтобы руководить по окончании войны мирными переговорами, то не только все партии Германской империи без исключения восторженно его приветствовали бы, но и все народности Австрии и Венгрии потому, что, несмотря на битву при Кенигсграде, он явился бы для всех нас от Северного моря до боснийской границы творцом Срединной Европы". По мнению Науманна, "Срединная Европа" создавалась прусскими победами, особенно весной 1870 г.

Обосновывая сущность "Срединной Европы", Науманн считал ее стержнем союз Германии и Австро-Венгрии, разумеется, под главенством и эгидой первой. "Спясть Австрию и Пруссию в исторический альянс почти то же самое, что слить вместе XVIII и XIX столетия".

Главными звеньями на пути создания "Срединной Европы" Науманн считал решение экономических и таможенных вопросов, создание общей армии и общих учреждений. "Теперь или никогда, - восклицал он, - должно создаться одно целое между востоком и западом, должна образоваться Срединная Европа между Россией и западными державами". Именно при описании экономической основы "Срединной Европы" в полной мере становится понятным замысел автора и его единомышленников. "Немецкая экономическая система, - пишет он, - должна быть воспринята всей срединной Европой. Военный оборонительный союз послужит основой для внутренней связи".

Таким образом, автор лишь слегка камуфлирует идею, что Германия должна стать во главе "Срединной Европы".

Доказывая право Германии на создание объединенной "Срединной Европы", автор приводит, в частности, тот довод, что площадь всей "Срединной Европы" составит лишь 6,7 млн. кв.км, меньше, чем площадь, которую занимает Англия (вместе с Египтом), Россия, Франция, Китай, США, Бразилия.

Чрезвычайно интересен вопрос о границах "Срединной Европы" как они мыслились Науманном. В одном из разделов книги он упоминает территорию между Балтийским и Средиземным морями, а также европейскую и азиатскую часть Турции, включая и часть

Аравии. В книге прямо не называются страны и области, которые должны были войти в состав "Срединной Европы", но по многим данным, приводимым в книге, можно прийти к выводу, что и сам Науманн, и сторонники его идеи намеревались отнести к германским интересам обширную территорию, включающую помимо самой Германии территорию Австро-Венгрии с подвластными ей областями на Балканах и в Дунайском бассейне.

Науманн напоминает, что некоторые сторонники "Срединной Европы" предлагали включить в нее Голландию, Скандинавские страны, Румынию, Болгарию, Грецию; другие же готовы были причислить к ней даже Францию, Испанию, Италию, Швейцарию и Бельгию, с тем, чтобы потом образовать Соединенные Штаты Европы. Сам он считал, что подобные идеи нереальны и приносят лишь вред. "Мы воздерживаемся от подобных расплывчатых планов, - заявляет Науманн, - и говорим, при настоящем положении, лишь о слиянии Германии и Австро-Венгрии, потому что эти два государства должны быть объединены прежде, чем вообще можно будет думать о каком-либо успешном обращении к другим странам".

Науманн словно боится заранее раскрывать все карты, опасаясь вызвать недовольство австрийцев и венгров, которые "думают о своих собственных балканских и турецких интересах, которые им ближе наших, и смущаются тем обстоятельством, что Германия будет желать проводить свою турецкую политику без их ведома".

Но буквально несколькими строками ниже Науманн не удерживается и сам обозначает некоторые возможные территории, которые со временем могли бы войти в состав "Срединной Европы".

"Кто может предсказать, - пишет он, - в каком направлении будут проложены траншейные границы Срединной Европы? Включат ли они Румынию и Бессарабию? Пойдут ли они по течению Вислы или нет? Следует ли подключить Болгарию к срединноевропейской сфере? Удастся ли нам удержать железнодорожную магистраль до Константинополя в надежных союзнических руках? Какие гавани на побережье Средиземного моря могут служить конечными пунктами срединноевропейских железнодорожных линий? Что станет с Антверпеном? В каком положении окажется Балтийское море после войны? Таким образом, возникают сотни различных вопросов. Несомненно только, что их решение зависит главным образом от того, является ли германо-австро-венгерский союз желательным и решенным делом. От этого зависит рождение Срединной Европы".

Как видим, Науманн разделяет взгляды тех деятелей, которые отодвигали границы "Срединной Европы" далеко на запад, юг и восток континента. Во всяком случае, он недвусмысленно заявляет, что "площадь мировой экономической области "Срединная Европа" должна превзойти территориальный объем Германии, Австрии и Венгрии". В книге Науманна специально рассматривался вопрос о механизме управления будущим объединением. В этой связи в качестве срединноевропейского центра называется Прага, а центра морской торговли - Гамбург, биржевого центра - Берлин, юридического - Вена.

Науманн анализирует и военные аспекты будущего союза, указывая при этом, что "требование единства военной организации обуславливается понятием мировой экономической области". В конце книги Науманн указывает, что решение вопроса о "Срединной

Европе" будет зависеть от итогов мировой войны, причем каждое государство при вхождении в новое европейское образование, несомненно, будет взвешивать все шансы и возможности. "Может быть, - продолжает автор, - Венгрия несет при этом самую большую долю ответственности. В руках этого не немецкого государства находится до известной степени вся будущая судьба германской нации, ибо, если Венгрия откажется от участия в образовании Срединной Европы, то она вряд ли вообще сможет создаться... Но надо полагать, что идея Срединной Европы встретит мощную поддержку со стороны монархов обеих союзных империй, австрийский и германский императоры стоят вместе со своими народами перед важнейшим решением, которое потребует забвения многого старого и восприятия многого нового. Верность Нибелунгов должна быть возведена в принцип общей государственной системы... Мы выйдем иными из этой войны, чем мы в нее вступили. Мы вернемся с войны гражданами Срединной Европы".

Такова была схема переустройства Европы, предлагавшаяся теоретиками германской империи в период первой мировой войны. План "Срединной Европы" явился одним из первых конкретных проектов интеграционных объединений Европы в XX столетии.

Мы привели в качестве примера проект Ф.Науманна, чтобы яснее стали те споры и дискуссии, которые происходили вокруг понятия "Центральная Европа" в прошлом.

XX столетие связано со многими принципиальными переменами в регионе Центральной и Восточной Европы. В значительной мере они были связаны с Версальской системой, созданной в результате I мировой войны. Образование ряда

независимых государств не только изменило карту Европы, но и принесло новые надежды и новые противоречия, которые стали особенно заметны накануне II мировой войны.

Принципиально иная ситуация сложилась в регионе после окончания II мировой войны. Раскол Германии, включение большинства стран Восточной и Юго-Восточной Европы в орбиту влияния Советского Союза стимулировали блоковую конфронтацию, создавали источник напряженности. В то же время Австрия и Швейцария укрепляли свой нейтральный статус.

В конце 80-х годов положение снова коренным образом изменилось.

Объединение Германии, революции в странах Восточной Европы и, наконец, распад Советского Союза знаменовали собой начало нового этапа и в развитии стран Центральной и Восточной Европы, и в их взаимоотношениях с Россией.

В течение всего XX столетия отношения России с Центральной Европой составляли один из главных пунктов европейского развития. Ключевой здесь была проблема отношений России и Германии. От них во многом зависело общее состояние Европы. Дважды в XX веке из Германии начинались мировые конфликты, а Россия колебалась от нормальных и даже дружеских отношений к глобальной войне.

И может быть именно сейчас после того, как Германия прочно стала на путь демократического развития, а Россия мучительно ищет свой путь к демократии и к правовому государству, открываются новые перспективы в отношениях между двумя крупнейшими государствами Европы.

Но теперь снова возникла острая проблема, связанная с государствами, расположенными между Россией и Германией.

В системе взаимоотношений Центральной и Восточной Европы Россия имеет традиционные и специфические отношения с этими государствами.

Упомянутые выше направления отношений России с Европой полностью приложимы и к отношениям России со странами на востоке и в центре Европы.

Прежде всего, укажем на "славянский элемент"; связи России со славянскими странами имели всегда для России особый смысл. Сейчас к этому поясу государств добавились Украина и Белоруссия. Апелляция определенных кругов российской общественности к идеям славянской солидарности всегда была достаточно сильна.

Геополитическое положение многих из этих государств между Россией и Германией создавало у многих из стран восточной Европы ощущение постоянной опасности и стремление балансировать между этими двумя европейскими великими державами. И России часто приходилось прилагать немало усилий, чтобы развеять эти опасения (часто реальные, а порой мнимые).

И сейчас после кардинальных перемен в этом регионе ситуация остается сложной и противоречивой.

Во-первых, перед Россией стоит острая проблема нормализации отношений с бывшими республиками Советского Союза, причем с каждой из них Россия имеет свою специфику отношений. Существуют особенности развития отношений с Украиной и Белоруссией.

Особые сложности имеет Россия с государствами Балтии. Наслоения прежних лет, проблемы с русскоязычным населением и т.п. создают немало трудностей. И здесь важнейшей проблемой остается преодоление негативных стереотипов в представлениях прибалтов о России и наоборот.

Во-вторых, во многом сходны и отношения между Россией и Польшей.

В целом для России и пояса государств, находящихся между Германией и Россией, важнейший вопрос состоит не только в нормализации отношений, но в построении новой их модели, что требует усилий и компромиссов с обеих сторон.

Тяготение многих из этих государств к НАТО и к Западной Европе не может разрешить всех вопросов, ибо постоянная геополитическая ситуация и особенности сложных внутренних процессов в России заставляют лидеров стран восточной Европы искать пути обеспечения своей безопасности и в активных усилиях по организации международных отношений в регионе Центральной и Восточной Европы, и в стремлении к созданию системы безопасности, объединяющей эти государства, Россию и Германию.

Для этой цели потребуются не только осознание и учет современных реальностей, но и использование опыта истории, ее традиций и уроков.

В сложном и противоречивом процессе европейской интеграции, в условиях, когда в Европе и в ее отдельных регионах усиливается поиск культурно-исторической идентичности, когда в отдельных частях Европы сохраняются конфликты (Югославия) и когда многие европейские лидеры ищут пути укрепления доверия и

стабильности на континенте и использования старых и новых механизмов безопасности на континенте и использования старых и новых механизмов безопасности, региону Центральной Европы предстоит не только включиться в общий процесс европейского развития, но и решить свои специфические проблемы. И в этом немалая роль принадлежит развитию отношений между Центральной и Восточной Европой и Россией.

Драго Роксандич

Загребский Университет

Центрально-Европейский Университет

"Европа граждан", Средняя Европа и границы Европы

С 15-го столетия продолжается процесс европеизации мира, и сегодня невозможно предположить, чтобы где-то в мире существовали общества, которые хотя бы некоторыми из своих культурных и цивилизационных достижений не были обязаны "Старому Свету". Конечно, этот процесс никогда не был лишен глубоких противоречий, как вне Европы, так и в ней самой.

Ирония мировой истории в том, что европеизация мира в "длинном XIX веке" и раньше в большей мере являлась результатом европейской колонизации мира, то есть основанного на насилии вызова европейцев, причем нередко во имя тех самых понятий и ценностей, на которых в самой Европе были основаны и осуществлялись, часто беспримерными для того времени способами, универсально определенные права человека и гражданина.

Опыт 20-го столетия в связи с этим еще поразительнее. Коммунистическая утопия "рая на земле" и связанные с ней тоталитарные системы, которые во имя "мировой революции" в XX веке пробовали навязать миру свое новое понимание права на мировое господство, также европейского происхождения. Это хотелось бы особенно выделить в противовес всем попыткам, в

основном разочарованных некоммунистов, видеть истоки коммунизма в "азиатском способе производства".

Недолговечные попытки фашистов и национал-социалистов получить власть над миром, основываясь на расистских, "арийских" убеждениях, чья недолговечность несопоставима с их катастрофическими действиями в европейской и мировой истории, несомненно также являются выражением своеобразного редуцированного понимания универсальности европейских понятий и ценностей, сколько бы ни было в европейской истории попыток их выделить и "забыть".

Нужно было пройти через разгром фашизма и национал-социализма, прежде всего благодаря общим усилиям Европы, через антиколониальные революции, ставшие следствием демократического и либерального самовосприятия Западной Европы, затем через "разрушение" реального социализма и коммунистического тоталитаризма, также вследствие этого либерального и демократического самовосприятия, теперь самой Восточной Европы, чтобы (пост)современная Европа снова оказалась лицом к лицу с бесчисленными вопросами о своих основных понятиях, ценностях и установках, но на совершенно ином историческом уровне.

Несомненно, что главный урок европейской истории 20-го века состоит в том, что основная ценность современной Европы это человеческая повседневность большей части "Старого континента", и в том, что основные вопросы европейской истории безусловно решаются созидательным потенциалом самого континента.

Сегодня история мира и история Европы находятся в совершенно иных взаимоотношениях, чем это было в период с 1789 по

1989 г. В наши дни Европа больше занята сама собой, чем когда-либо раньше в своей современной истории, но сегодня она и зависит от мира больше, чем за всю предыдущую историю. Сейчас Европа стоит перед лицом самого большого проекта собственной интеграции, задуманной как объединение "сверху". Действительно, в такой исторической ситуации она может показаться разрываемой сомнениями о своем естестве больше, чем когда-либо в своей современной истории. Эти парадоксы нигде не проявлены так ярко, как в проблеме европейских границ.

Ныне, когда в первый раз в современной европейской истории можно сказать, что Европа в конституционном смысле, т.е. в пространстве проявления "volonte generale", в большей части европейских обществ определилась либерально и демократически, стало намного меньше, чем до 1989 года, приверженцев Европы "от Атлантики до Урала". Проекты "новой европейской архитектуры" больше, чем когда-либо за прошедшие несколько лет, полны опасений о Европах на разных "скоростях", в "центрах" и вне их. (Когда приверженцы таких взглядов столкнутся с близкой их проектам "постмарксистской моделью" И.Валлерштейна или кого-то другого, кто настаивает на "центре", "полупериферии" или "периферии" в "мировой системе", большинство воспримет это как своего рода личное оскорбление. Оставим это замечание без комментариев. (В свете современных мировых событий Валлернштейн может быть актуальнее кого бы то ни было.)

Так как (пост)современная Европа - это по-преимуществу Западная Европа, остатку "географической" Европы не остается ничего другого, кроме своего европейства, своего понимания

европейских границ, и настойчивых попыток легитимизироваться с помощью своей средневековой идентичности. Прежде всего в интеллектуальных кругах средневропейских эмигрантов в Западной Европе и Северной Америке в 70-е годы и позднее, с большей или меньшей широтой, но с явно оборонительным значением была возобновлена традиция Средней Европы. Как и много раз раньше в европейской истории один конкретный исторический опыт превратился в то время в своего рода культурологическую конструкцию с политическими переплетениями и, конечно, амбициями. Поэтому и в этом периоде из прежних суждений о Средней Европе остались те, которые раньше, с середины XIX в., не говоря уже о начале XX, считались глубоко спорными на своей собственной территории. (Препирательства между "Mitteleuropa" и "Zentrale Europa" только одна из многочисленных неприятностей этого спора.)

Сторонникам Средней Европы всегда было намного легче размышлять о барокко или о "Sachertorte" как о "квинтэссенции" средневропейской культуры, а противникам повторять, что никакой Средней Европы никогда не было и не будет, чем посмотреть в лицо реалиям того мира, который выступает посредником между несомненно разными культурно, исторически и цивилизационно европейским Западом и Востоком, вступая во взаимосвязь и с тем, и с другим, принимая и отдавая одному и другому. Из этого следует, что Среднюю Европу, воспринимаемую как некую величину европейского проекта, меньше всего должны интересовать границы.

Надо было пройти еще несколькими годами после 1989, чтобы практически везде поняли, что в духовном кругозоре и интересах

современного национализма этой территории и вне ее, "Средняя Европа" всегда будет разной, в зависимости от того, как та или иная нация в определенной исторической ситуации сформулирует свои стратегические интересы.

В отличие от большинства среднеевропейских идеологий 80-х годов, среднеевропейство 90-х есть прежде всего выражение осознания собственного "полупериферийного" статуса по отношению к европейскому центру, но с историческим стремлением объединиться с этим центром. Между тем, если среднеевропейство 80-х годов было интернационально в своем регионализме, среднеевропейство 90-х ярко национально, разрозненно. Почти во всех национальных государствах Средней Европы границы между Средней и Восточной Европой многие хотят видеть на своих собственных восточных границах. Как будто они исходят из предположений, что с "исключением" восточного соседа из числа основных претендентов на объединение с европейским Западом может стать более легким собственным ускоренный успех в этом отношении. Если бы таким же образом в европейских спорах принимали во внимание все национальные устремления, похоже что Восточной Европы вообще не бы было, поскольку никому не хочется в ней оставаться, и меньше всего тем русским националистам, которые свою разочарованность Европой выражают новой демонстрацией своей евразийской мощи. (Надо сказать, что в этом зачастую замешаны те европейцы, которые сейчас любой ценой хотят освободиться от России в "собственном дворе".)

Итак, в то время как Европа меньше по размерам, чем когда-либо за современный период, она все определеннее как один из

формирующихся регионов мира, и в самом этом регионе все больше тех, кто хотел бы сделать его как можно меньше и замкнутее.

Они хотели бы сделать это как раз в то время, когда в своих притязаниях Европа больше, чем в любой другой момент современной эпохи. Бесчисленные исследования, написанные до сегодняшнего дня, посвящены тому, как географическая Европа разделялась и разделяется. Я глубоко уверен что все это необходимое чтение для того, кто мыслит европейскими категориями, так как Европа никогда не была и не будет в какой-то "изоляции", в историческом опыте "одного измерения". Любая попытка свести ее к этому всегда будет, как была и прежде, только выражением неизбежных тоталитарных повторений в ее истории, т.е. источником ее исторических катаклизмов. Поэтому сейчас, когда европейское сознание становится все более заметным феноменом в каждой части ее "географического" ареала, необходимо настаивать на гражданском, индивидуальном характере европейской политической культуры, которая имеет много исторических, культурных и цивилизационных источников, но не отрекается от своей европейской идентичности и желания участвовать в европейской общности людей и народов.

Ясно, что имеются глубокие размежевания и очень разные мнения в отношении понятий Европы, европейской идентичности, европейского единства в каждом обществе "географической" Европы от Атлантики до Урала. Однако фактом остается и то, что, несмотря на типичные различия, которые можно увидеть в этих рассуждениях и которым с большей или меньшей степенью оправданности можно придать национальные атрибуты, некоторые из основных и характерных "европейских" противоречий "глубоко

межнациональны". Многие из них легче понять, если изначально размышлять об общеевропейских убеждениях относительно индивидуума, т.е. человека, гражданина, последователя определенной культуры мышления, члена определенного слоя и т.д., принимая во внимание все типологические различия, подходящие к такой меняющейся системе ценностей. Другими словами, по сравнению с традиционно преобладающими пониманиями Европы, сегодня наиболее уместно то, в котором Европа прежде всего является Европой граждан или "Европой будущего".

Я придерживаюсь мнения, что ее основным источником являются европейские изменения 1989 г. Хотя сегодня многие склонны скептически оценивать реальный размах событий 1989 г. в европейской истории, я как историк убежден, что эти глубокие и далеконаправленные действия еще предстоят всему европейскому континенту, через все виды границ, которые сегодня разделяют "Старый Свет". При этом я согласен с многочисленными критическими оценками ситуации, которые предупреждают, что в период с 1989 г. и до сегодняшнего дня европейский континент поставлен лицом к лицу с многочисленными размежеваниями, среди которых есть и такие, которые в недалеком будущем могут при определенных условиях оказаться более фатальными, чем те, которые навязала "холодная война" разделенной надвое Европе. Мое мнение, что для будущего Европы все-таки решающим будет потенциал демократических устремлений, которые высвободились в 1989 г., и Европа после всех своих разочарований все-таки уже никогда больше не сможет "вернуться" к тем "геостратегическим" играм, из-за

которых она и столкнулась с самыми страшными катастрофами в своей современной истории.

Все-же не следует обольщаться. Если принимать в расчет только показатели экономического и технологического развития и уровня жизни, разница между Востоком и Западом, как бы ни понимались линии раздела между ними, сегодня снова несомненно все больше. Две части Европы по многим показателям даже более различны, чем в период до 1989 г., чего ни в коем случае не следует забывать, когда указывают на другие цивилизационные показатели, которые стали лучше, чем были. Сегодня время большей частью не работает на европейский Восток, как это ожидалось в 1989. Сегодня всего у нескольких государств бывшего "реального социализма" имеются сколько-нибудь реальные шансы в обозримом будущем получить ободряющие результаты. Ирония истории в том, что в некоторых из них (например Венгрии, Польше, а частично и Балтийских республиках) одним из основных гарантов стабильности сегодня выступают реформированные коммунисты.

Тем не менее изменения взглядов часто меняют и понимание европейских реалий, включая и понятие европейских границ. "Европа граждан" поверх государственных и национальных границ, Европа прав человека и гражданина независимо от государственных и национальных границ, могла бы в недалеком будущем оказаться одной из решающих движущих сил дальнейших фаз прогресса европейской интеграции.

Сегодня очень трудно говорить о границах Европы, потому что они прежде всего в нас самих, в наших убеждениях, интересах и стремлениях. Я говорю об этом как тот, кто в этих дискуссиях легче

находит общий язык с людьми с далеких европейских меридианов, чем с теми, с кем живу рядом и разделяю одну историческую судьбу. В этом заключается одна из главных возможностей и самых больших слабостей Европы будущего. Культурноантропологическое понимание европейских границ находит сторонников по всей географической Европе, но также открывает и слабости крайне противоречивой политикоцентричной структуры, будущее которой совершенно не известно. Европа граждан больше чем утопия, хотя и не преобладающая форма европейской реальности 1995 г. Такой Европе, неизбежно плюралистической, важна и ее регионализация. Не как выражение ее ограниченности, провинциальной эгоистичности по отношению к непохожему соседу! Но как выражение открытости континента и его Западу, и его Востоку. В такой Европе все нации будут иметь собственное будущее.

Андреа Пето

Центрально-Европейский Университет

Преподавание истории Центральной Европы

Система обучения, используемые концепции и терминология в значительной мере зависят от национальности и образовательного уровня студентов. Очевидно, что методы должны различаться в зависимости от того, имеем ли мы дело, например, с американскими студентами младших курсов или европейскими аспирантами, специализирующимися в истории региона.

Центральная Европа весьма многообразна в языковом отношении. *Lingua franca* для историков региона до 1945 года был немецкий, затем русский, теперь английский. В послевоенный период институциональные изменения в странах региона заметно повлияли на развитие историографии Центральной Европы.

На Западе преподавание истории Центральной Европы по очевидным стратегическим причинам было объединено с советологией. Коммунизм давал некоторое, хотя и искусственное, единство исследованиям по истории Центральной Европы. Эта привязанность к советологии парадоксальным образом имела для историографии Центральной Европы положительные последствия, поскольку облегчила создание новых рабочих мест и проектов для изучения региона в Западной Европе и США. В то же время в преподавании история Центральной Европы оставалась в тени

российской и советской истории, которой уделялось преимущественное внимание. Нельзя и забывать, что "железный занавес" искусственно разделит регион.

Трудно сказать, возрос или уменьшился интерес к преподаванию истории Центральной Европы после 1989 года, но он определенно претерпел изменения. Вообще постоянные смены перспективы характерны для писания истории региона. Как заметил Петр Вандыч, 1989 год "резко изменил у историков видение национального прошлого".¹ К этому во многом подтолкнуло осмысление причин неумения специалистов предсказать столь скорый крах коммунистических режимов. Кроме того, ученые-эмигранты потеряли свою исключительную роль в разработке табуированных при коммунистах тем.

В самой Центральной Европе история региона была включена в историю Восточной Европы или историю западных и южных славян. Акцент делался на единстве всего коммунистического блока. Некоторые историки пытались играть роль совести нации, иногда ценой исключения из официальных научных структур. После 1989 года это естественно привело к росту исторически укорененного национализма. После 1989 года акцент делался на идее единства с Европой. Однако старые границы оказались заменены новыми. Часто употребляемые безобидные географические понятия Востока и Запада имели идеологическое значение в европейском контексте, а теперь они отражают различия в уровнях развития.

Это возвращает нас к неизменно актуальной проблеме отсталости Центральной Европы. Так, Даниэль Широ указывает, что Центральная Европа не должна быть в фокусе внимания дискуссии о

единстве Европы, поскольку регион всегда занимал периферийное положение в отношении главных событий, неизменно происходивших в других частях континента.² Однако главный вопрос состоит в том, действительно ли Центральная Европа только ассимилировала, инкорпорировала, трансформировала модели, заимствованные в Западной Европе, или она имела свою *differencia specifica*?

Есть только одна безусловно центральноевропейская страна - Швейцария. Восточная Европа всегда начинается на границе с восточным, не всегда любимым соседом.

Традиционно различаются Восточный, Восточно-Центральный и Юго-Восточный регионы Европы. Можно сказать, что Центральная Европа суть территория монархии Габсбургов, способствовавшей возникновению общих характеристик развития.

Альтернативой географическому является цивилизационный подход, вытекающий из интеграционистской точки зрения. В этом случае история регионов связывается с историей европейской цивилизации и преподается в рамках широкой паневропейской программы. Опыт свидетельствует о перспективности такого решения. Задача курса, ориентированного на преподавание истории Центральной Европы, состоит в том, чтобы показать связь региона с остальной Европой, иначе говоря, представить историю Европы, но сфокусированную не на истории Англии, Германии и Франции, как это обычно делается, но на истории региона. Такой курс должен отражать идеи множественной лояльности и терпимости, столь необходимые для сосуществования различных народов региона.

Центральная Европа это историческая и культурная идентичность. Это территория, охватывающая государства с

постоянно меняющимися границами и общественным устройством. Центральная Европа это и альтернатива. Историки должны работать для того, чтобы делать эту альтернативу более жизненной.

Новые подходы к преподаванию истории Центральной Европы.

В этом регионе каждая страна имеет свои болевые точки в прошлом. Историки выступают посредниками между прошлым и настоящим, часто прибегая к спорным метафорам. Многообразие национальных идентичностей часто приобретает изоляционистский и шовинистический характер. Соревнующиеся национальные мифологии нередко имеют особое значение для молодых национальных государств, в которых национальная история создается как символическая репрезентация национального единства и целостности. Монокультурная националистская история становится историей себя самих в весьма специфическом смысле.³ Историки Центральной Европы еще только приступают к выработке параметров центральноевропейской культуры в более широком контексте.

Единственное удовлетворительное решение проблемы заключается в принятии наднационального, сравнительно-исторического подхода. Необходимо также по-новому подойти к проблеме национализма, использовать методы социологии и антропологии. Углубленное изучение таких проблем как история государственных институтов - армии, отдельных министерств, системы образования, а также соотношения государственной власти и

гражданского общества также может способствовать формированию новых концепций истории.⁴

Крайне важно, чтобы дидактика целенаправленно искала не только "белые пятна", возникавшие из-за цензуры, но действительно новые области, становящиеся доступными исследователям благодаря новой методологии. Этот регион всегда был крайне разнообразен с национальной, лингвистической, культурной, религиозной точек зрения. Нам нужны новые методы, чтобы исследовать на протяжении веков жизнь многокультурных локальных сообществ, и через это показать как разнообразие региона, так и довольно гармоничное сосуществование его разнообразных элементов в повседневной жизни.

Сравнительно-исторический подход оказался весьма полезен для преодоления концептуальной ограниченности. В рамках этого подхода основное внимание уделялось Германии и России как объектам для сравнения. Иной пример использования сравнительно-исторического метода дает книга Дэвида Гуда, строящего системы сравнения внутри монархии Габсбургов.⁵ Историки скорее должны подчеркивать многообразие жизни региона, чем делать акцент на унифицирующей роли государства или оказывать поддержку мифологии монокультурных наций.

Теория модернизации как в ее марксистской, так и в анти-марксистской версиях показала свою непригодность для описания всего многообразия моделей развития в Европе. Реакция на структурный подход вызвала к жизни различные универсальные модели писания об истории - постмодернизм, гендерные исследования и антропология воображенных сообществ, изобретенная традиция⁶,

которые позволяют представить проблему национализма в новом свете.

Преподавание истории Центральной Европы: учебники и учреждения

Во всей Восточно-Центральной Европе система образования претерпевает в последние годы кардинальные изменения. Основные проблемы это модернизация содержания учебного процесса и реформирование системы управления образовательными учреждениями. Испытываемые при этом трудности колоссальны, особенно если принять во внимание ухудшение экономической ситуации и демографический кризис. В этих условиях преподавание истории оказалось в самом конце списка приоритетов.

На университетском уровне преподавание истории сталкивается с резким сокращением бюджетного финансирования, хотя общественный интерес к изучению истории растет. Отсутствие учебников, плохая укомплектованность библиотек существенно затрудняют преподавание. Финансовые трудности отражаются и на преподавании иностранных языков, широкое знание которых необходимо для изучения истории Центральной Европы.

Можно перечислить целый ряд университетов, в программах которых уделено существенное внимание центральноевропейской проблематике: Тирана (Албания), Вена, Грац, Клагенфурт, Зальцбург (Австрия), Загреб (Хорватия), Прага, Брно, Оломоуц (Чехия), Будапешт, Печ, Сегед, Дебрецен, Мишкольц (Венгрия), Скопье (Македония), Варшава, Краков, Торунь, Лодзь (Польша), Бухарест,

Клуж (Румыния), Братислава (Словакия), Любляна, Марибор (Словения), Белград (Югославия). Однако история региона в основном преподается в курсах всеобщей истории, а акцент по-прежнему делается на преподавании национальной истории.

Европейский Союз финансирует сегодня проект развития евроистории, включающий и создание новых учебников. Однако процесс их аккредитации в отдельных странах очень непрост и нескор, отчасти потому, что новые учебники вступают в противоречие с чисто национальными, узко патриотическими интерпретациями, трактуя историю как объединяющую, а не фрагментирующую силу. Сегодня широко используются учебники Джозефа Ротшильда по истории Восточно-Центральной Европы в XX веке, а также учебник Барбары Елавич по Балканам.⁷

Мы сознавали с самого начала, что исторический факультет будет играть особую роль в новом Центрально-Европейском Университете, основанном Дж.Соросом в 1991 году. Дело в том, что история затрагивает в нашем регионе крайне чувствительные точки общего прошлого. Поэтому одну из главных задач мы видели в создании предпосылок для примирения и развития взаимопонимания среди интеллектуалов Центральной и Восточной Европы. Очень важно, чтобы исторические проблемы, до сих пор мало исследованные или трактуемые с националистической тенденциозностью, обсуждались в атмосфере терпимости и свободного диалога в рамках интердисциплинарного подхода.

Предлагая программу, ориентированную на изучение истории Центральной Европы в общеевропейской перспективе, исторический факультет ЦЕУ имеет также уникальную научную ориентацию.

Факультет стремится улучшить качество и методы преподавания истории Центральной Европы как части общеевропейской истории, включая ее социальный, политический, экономический и культурный аспекты.

Исторический факультет ЦЕУ единственный в регионе имеет интернациональный состав преподавателей, равно как и студентов. Это помогает выстраивать наднациональную концепцию истории региона.

Программа факультета делится на два "потока". Направление новой истории (Modern History) сфокусировано на ключевых темах истории региона и Европы в целом от периода Просвещения до современности (условно 1740-1990): Просвещение и эпоха революций, национализм и национальное государство, проблемы экономической модернизации, основные проблемы истории культуры, авторитаризм и тоталитаризм, гендерные исследования, различные методологические и исторические школы.

Направление, посвященное раннему периоду новой истории (Early Modern History) - условно от 1500 до 1789 - предлагает лекции по истории реформации, истории дворянства и буржуазии, моделям социального и культурного развития в Западной и Центральной Европе, истории политических идей.

На обоих потоках большое внимание уделяется представлению многообразия современной историографии - немецкой "Socialgeschichte", французской "histoire des mentalites", англо-американской "history of ideas", которые относительно равномерно представлены преподавательским составом. Существует также специальный курс, посвященный методологическим проблемам.

Сравнительно-исторический подход представлен в нескольких вариантах. Есть параллельные курсы по истории отдельных стран. Ключевые проблемы европейской истории в рамках таких курсов, как "Создание современной Европы", рассматриваются в сравнительно-историческом ключе на материале западной и восточной частей континента.

Магистерская программа исторического факультета ЦЕУ аккредитована Регентским Советом штата Нью-Йорк. С 1995 года открыта годичная программа аспирантских стажировок для наиболее отличившихся студентов. В следующем году планируется создание собственной программы подготовки PhD.

Исторический факультет ЦЕУ вступает в пятый год своей работы, а это значит, что у нас уже есть своя история, которая, как мы надеемся, станет вкладом в развитие историографии Центральной Европы.

Примечания

¹ *Wandycz P.* Historiography of the Countries of Eastern Europe: Poland. // *American Historical Review* 97. 1992. P.1011.

² *Chirot D.* Origins of Backwardness in Eastern Europe. Berkeley, 1989.

³ *Stokes G.* East European History after 1989. В кн.: *J.R.Lampe and P.B.Smith (eds) East-European Studies in the United States: Making Its Own Transition after 1989.* The Woodrow Wilson International Center for Scholars. 1993. P.33.

⁴ См., например, *Tilly Ch.*(ed) *The Formation of National States in Western Europe.* Princeton, 1975; *Deak I.* *Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918.* N.Y.,

1992; *Weber E.* Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914. Stanford, 1992.

⁵*Good D. F.* The Economic Rise of the Habsburg Empire. 1750-1914. Berkeley 1984.

⁶*Anderson B.* Imagined Communities. London, 1983; *Hobsbawm E., Terence R.* (eds) The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.

⁷*Rothschild J.* Return to Diversity: A Political History of East Central Europe since WWII. 2nd ed. N.Y., 1994; *Jelavich B.* History of the Balkans. N.Y., 1983.

Три исторических региона Европы

** Данная статья посвящена памяти Иштвана Бибо (1911-1979), политолога и философа, но отнюдь не историка, хотя история составляла органическую часть его творчества. Он стал примером и для историков, осознав, что за "событиями" стоят определенные структуры, сохраняющие свое принципиальное значение даже в долгосрочной перспективе и вместе с тем определяющие границы и демонстрирующие возможности развития, в том числе и в настоящее время. В тех границах, которые он сам точно очерчивал, и в тех возможностях, которые он сам находил в реальной действительности следует искать суть дела всей жизни Иштвана Бибо: Что может или что должно быть сделано для максимального развития возможностей общества, исторические и структурные рамки которого предопределили необходимость революционных и демократических преобразований, если история предоставила шанс для революционных изменений и установления демократии в ситуации, не являющейся революционной.*

С точки зрения существующих в течение длительного времени границ и возможностей И.Бибо рассматривал венгерскую историю как развитие, которое можно разделить на три этапа. Иными словами, в первые пятьсот лет венгерской истории с начала второго тысячелетия новой эры принадлежность венгерское общество структурно

принадлежало или почти принадлежало Западу - "в явно упрощенном смысле, с некоторыми провинциальными характеристиками" и "в различной степени". Позднее оно было отторгнуто от Запада в результате целого ряда исторических и на более чем 400 лет принудительным образом переведено на восточноевропейский путь развития, для которого были характерны "инертность существующих в обществе отношений власти", "застой" и безнадежные попытки вернуться к Западу, предпринимавшиеся вплоть до второй половины XIX в., когда соответствующие процессы зашли в роковой "тупик". Как считает Бибо, возможность вернуться на первоначальный путь ("вновь присоединиться к западному пути развития общества") появилась в 1945 г. Анализ возможностей избежать подобной "истории тупиков" и ограничивающих эти возможности факторов составляет основу трудов Бибо.

Существуют трагически горькие доказательства того, с какой смертельной серьезностью Иштван Бибо воспринимал историю. За несколько дней до смерти, в больнице, когда болезнь уже сделала его речь невнятной, Бибо рассуждал о проблемах изучения третьего сословия. Он был одержим упорными попытками доказать, что автоматическое отождествление понятия *Tiers Etat* ("третье сословие") с буржуазией является ошибкой. На самом деле третье сословие изначально охватывало "всех", то есть всех тех, кто не обладал дворянскими привилегиями. И хотя вскоре буржуазия приравняла себя к третьему сословию (делая тем самым возможным появление четвертого, а затем и пятого, состоявшего из не вошедших в четвертое), некоторые связанные с третьим сословием модели изначально были ориентированы

на "всех". Заключение, к которому пришел Бибо (вскоре умерший), было сформулировано в его работах раньше, за 30 и затем за 25 лет до его кончины. Он сделал вывод, что демократия является не разновидностью "буржуазной суперструктуры", а "объективным методом реализации свободы", который социализм мог признать (и принять) точно также, как он мог принять тип карандаша, сделанного на Западе, или же превосходство теории наследственности Моргана, невзирая на ее "западное происхождение".

Структуры включены в историю в качестве моделей, и, хотя их внутренняя организация может меняться, они остаются в силе и функционируют на протяжении многих столетий - такой акцент Иштван Бибо мог поставить в своем последнем исследовании. В настоящей статье я попытаюсь еще раз рассмотреть, по крайней мере в общем виде, те структурные изменения, которые определяли ткань венгерской истории, имея в виду последний вывод Бибо.

I.

Где проходят внутренние границы Европы?

Через всю Европу на юг от нижнего течения Эльбы-Заале, вдоль Литы и западной границы древней Паннонии тянется одна очень важная линия - восточная граница империи Каролингов на

рубеже VIII-XIX вв. В течение трех предыдущих столетий земли на запад от этой границы являлись местом органического симбиоза элементов поздней античности и христианства, с одной стороны, и варварских германских влияний - с другой. Первым (хотя и преждевременным, переходным) результатом этого симбиоза стала сама "обновленная" *Imperium* ("империя"). Уже в то время эта совокупность земель часто называлась "Запад". Разумеется, изначально термин *Occidens* ("Запад") не подразумевал чего-то отделенного от других частей Европы, например, от "Европы Восточной" - до начала нового тысячелетия этот последний термин не имел особого значения или содержания даже в исторической ретроспективе. "Запад" подразумевал древний "мир", территория которого опоясывала Средиземноморье, в противовес Византии и исламу, захватившим южную половину этого "мира". Многие полагают, что о европейской истории как таковой можно говорить только начиная с рубежа VIII-XIX вв., когда центр исторического развития переместился на север Европы в результате арабских завоеваний, лишивших греко-римскую цивилизацию ее южного ареала - протянувшегося из Сирии через Южную Африку до Испании. В представлении древних Европа была чисто "географической" общностью. Именно в это время в ее западных регионах началась кристаллизация структуры нового типа. Это было не древнее или германское, но "христианское и феодальное общество". Чтобы "выразить" эту новую структуру, после смерти Карла Великого (814 г.) термин *Europe* стали использовать в регионе только применительно к самому региону, хотя и неоправданно, поскольку он представлял собой лишь один полюс зарождавшейся Европы. Другим была

Византия, хотя изначально Византия не проявляла европейских устремлений; и, поскольку ее географический центр находился в Малой Азии, она не принадлежала Европе и в географическом смысле. До начала второго тысячелетия Византия последовательно стремилась защитить восточное наследие "римлян" (как они продолжали называть себя) от "варваров" даже ценой территориальных потерь, путем глубоких, выдержанных в духе древности реформ и оборонительной козности. Таким образом, история Европы на рубеже тысячелетий развивается из этих двух полюсов, поглощая регион, находившийся между ними, а также тот разнообразный мир, который лежал еще дальше на север: Occidens превратился из западного полюса некоей предположительно существовавшей Европы в "Западную Европу", а Византия отказалась от своей политики защитной козности. С этого времени и далее можно говорить о существовании европейских регионов.

После великого разделения церквей в 1054 г. к этому двойному вектору добавилась другая, не менее важная, граница, проходившая почти параллельно, но восточнее уже упомянутой. Она протянулась от земель Нижнего Дуная до Восточных Карпат и далее на север вдоль лесов, разделявших западных и восточных славян, достигнув в XIII в. Балтики. Уже в XII в. для определения территорий западнее этой границы использовался всеобъемлющий термин *Europa Occidens* или *Occidentalis* ("Западная Европа"), а линия Эльба - Лита была явно забыта. При существовавшем разделе сфер влияния между Римом и Византией "Европа" вряд ли эволюционировала бы от чисто географического целого к общности, ставшей синонимом христианства. В период средневековья все меньше и меньше сомнений

вызывало определение Западной Европы как региона, протянувшегося от Эльбы до Карпатской дуги, а также от Балтики до Адриатики, то есть нового региона, охватившего прежнюю "Каролингскую Европу", включая Скандинавию. Стал ли этот регион Западной Европой в действительности?

Оставив на некоторое время в стороне этот вопрос, я хотел бы кратко охарактеризовать два "пограничных аспекта" ситуации на этой ранней стадии.

Во-первых, давайте признаем, что существование и степень определенности новых внутренних границ в Европе после рубежа тысячелетий можно проследить не только по карте епархий, но и по многим другим, - например, распространения романского и готического стилей в архитектуре, Ренессанса и Реформации. Кроме того, границы можно проиллюстрировать путем картографирования, например, автономных городов, корпоративных свобод, сословной структуры и ряда других структурных характеристик, которые трудно представить наглядно. Восточным, отчасти проницаемым рубежом распространения всех этих феноменов, служила восточная граница Польского и Венгерского королевств, а далее на север - земли восточного пограничья, управлявшиеся Тевтонским орденом (позднейшая Восточная Пруссия); хотя плотность знаков на такой карте за пределами старой империи Каролингов должна была бы резко уменьшаться. Определенное снижение плотности этих знаков должно было бы наблюдаться также на восток от Рейна. Линия старых римских *limes* ("рубежей") также проявится на морфологической карте Европы, предопределяя с самого начала появление "Центральной Европы" в рамках понятия "Запад".

Во-вторых, следует обратить внимание на регрессивную тенденцию. Четкая демаркационная линия, фактически разделившая после 1500 г. Европу на две части с точки зрения экономического развития и социальной структуры, отрезала гораздо большую часть территории, находившуюся восточнее, как арену "второго издания крепостничества". Более того, еще 500 лет спустя современная нам Европа разделена более явно, чем когда-либо раньше, на два "лагеря" почти в точности по той же линии (с незначительным отклонением в Тюрингии), словно Сталин, Черчилль и Рузвельт внимательно изучали статус-кво эпохи Карла Великого в связи с 1130-ой годовщиной его смерти. Разумеется, в центре моего внимания находится территория между этими двумя пограничными линиями (относительными в любом направлении), поскольку Венгрия расположена между ними. Эта территория была определена несовершенным, но, тем не менее, приемлемым и уже широко принятым несмотря на свою новизну термином "Восточно-Центральная Европа". Возможно, это звучит парадоксально, но бурные волны истории, перекатывавшиеся с обеих сторон через эти границы, вынуждают меня уделить гораздо большее внимание землям западнее и восточнее данной территории, чем непосредственно ей самой.

Труды средневековой Европы остались наиболее незавершенными на Востоке. Подавляющее большинство земель, впоследствии вошедших в состав России (которая заняла как раз половину общей территории Европы), области на юг и восток от русских земель, вплоть до нового времени не называли ни собственно "русскими землями", ни "Европой". Эти области представляли собой

клинообразное продолжение в западном направлении евразийских степей и ареала проживания кочевников, острием врезавшихся в географическую Европу. Именно эти области пересекли предки современных венгров и других народов, двигаясь к Карпатам. Но с началом второго тысячелетия острие этого клина обломилось и присоединилось к рассматриваемому нами региону. С XIII в. этот огромный клин стали идентифицировать с империей татаро-монголов. Далее последовал целый ряд событий, начиная с освобождения от зависимости от Золотой Орды (1480 г.), включая завоевание Русью Казанского и Астраханского ханств в 1552 и 1556 гг., присоединение территорий южной Украины, управлявшихся Польшей (1667-1686) и заканчивая ликвидацией Крымского Татарского ханства (1783 г.). С точки зрения европейской истории эти события имели значение не меньшее, чем с точки зрения истории Русского государства, так как они создали (и в то же время ассимилировали в понятие "Россия") цельную концепцию собственноВосточной Европы из пестрой полосы территорий между Польшей и Уральским хребтом, завершив в раннее новое время внутреннюю экспансию Европы и завоевания "посредством плуга и основания городов", едва достигшие в период средневековья русских земель вокруг Киева и затем Москвы. В результате в районе Дона, Днепра и Волги в XVIII-XIX вв. было осуществлено то же, что сделала (хотя и более экстенсивным способом) "европеизированная " Европа пятью столетиями раньше между Рейном и Вислой, Мемелем, Тисой и Марошем. Это заключительное присоединение восточной половины Европы нельзя не учитывать при сравнении структурных моделей развития европейских регионов.

Нельзя также не принимать во внимание проникновение в Европу на закате средневековья другого клина - азиатского, более мощного, чем когда-либо раньше, и вторгшегося с юго-востока в Юго-Восточную Европу -пространство, где процесс "европензации" был почти завершен (хотя и в более приблизительном виде, чем где-либо еще). В результате вся эта территория получила на несколько веков название "Румелия", относившееся к Византии, малоазийскую часть которой задолго до этих событий "поглотило" наступление Сельджуков , и которую стали по-новому называть "Анатолия". Поскольку острие клина Оттоманской империи было остановлено именно в Венгрии, новая роль последней в качестве "пограничной зоны" стала важным фактором в развитии различных регионов и в то же время освободила от этой роли Восточную Европу.

Основные вехи охарактеризованных процессов можно обозначить следующим образом: первое продвижение варварских народов, поглотившее западное наследие Рима, привело к зарождению понятия "Запад" (500-800 гг.); после усмирения других варваров первая крупная экспансия Запада на восток и на север расширила границы *Europa Occidens*, включив Северную и Восточно-Центральную Европу. "Усеченная" Восточная и Юго-Восточная Европа приобретали в это время свои очертания, находясь в сфере влияния Византии, унаследовавшей римскую "мантию" на Востоке. Поскольку к концу средневековья этот ареал в связи с постепенным упадком Византии выпал из европейской структуры, я не стану уделять ему внимания. Новое время пришло с двух сторон: во-первых, это была вторая крупная экспансия Запада (1500-1640), который, перешагнув через Атлантику, присоединил Америку (а позже и Скандинавию), и, во-

вторых, крупная экспансия "усеченной" Восточной Европы, которая превратилась в "полную" путем присоединения Сибири, протянувшейся до Тихого Океана. Восточно-Центральная Европа оказалась зажатой между этими двумя регионами, а в начале нового времени она была вынуждена с удивлением обратить внимание на некоторые неожиданные явления. Суть их заключалась, в том, что, пока история перекраивала считавшуюся исчезающей границу, с юга на рубежи Восточно-Центральной Европы нахлынула последняя (и самая мощная) за все тысячелетие волна вторжений из Малой Азии, так что Восточно-Центральная Европа более не имела ясного представления, находится она в рамках *Europa Occidens* или же осталась вне таковых.

Исходное положение регионов, тенденции их развития и реагирование на вызовы истории сформировали структурные модели, которые с того времени определяли развитие Европы.

II.

Как выглядела исходная западная модель, по крайней мере, с точки зрения Иштвана Бибо? Его позиция (одна из нескольких возможных) опирается на исследование глубинных истоков "демократического пути организации общества". Все те изначальные явления, которые Бибо считал важными (традиционные, персональные и взаимные права и обязанности, сбалансированная структура "узких ареалов свободы", предотвращающая концентрацию власти и обеспечивающая противовес "целесообразно жестоким"

методам одностороннего подчинения и т.п.), были реальны и важны, хотя и сосуществовали с сохранившимися средневековыми структурами. Над более внятной интерпретацией работа еще ведется, и, возможно, подтвердить ее поможет краткий обзор развития Запада от средневековья к новому времени.

При обращении к таким концепциям, как естественное право, общественный договор и суверенитет народа, передача власти или разделение властей, большинство людей непременно вспомнит имена Гоббса, Локка, Монтескье и Руссо, а также, разумеется, французскую революцию и ее последствия. Очень немногие знают, что впервые над этими ключевыми проблемами начали размышлять на целых 500 лет раньше в Болонье, Париже и Оксфорде, хотя и в достаточно далеком и чуждом современному контексте. В эпоху расцвета средневековья, в "великом" XIII в., эти идеи так же находились в центре внимания политической мысли, как и в грандиозный подготовительный период нового времени - в XVIII в. И если искать корни "социального развития в западном смысле" (как это сформулировал Бибо) или стремиться выявить "исходные черты" Запада (как это сформулировал бы Марк Блок), то эта трудно прослеживаемая параллель приобретет большое значение, поскольку одной из таких черт является отделение "общества" от "государства", то есть наличие структуры, которая сделала подобное теоретическое разделение возможным.

В действительности разделение такого типа не является чертой, неотъемлемо присущей истории человечества. Разумеется, любое государство создается на основе определенного общества, но именно в поле притяжения пятитысячелетнего развития высоких культур формирующееся государство находит для себя оправдание

"вне границ" общества, создавая тем самым механизм, в котором общество предстает как производная от государства, а не наоборот. Для любой части общества автономное, независимое от государства (хотя и связанное с ним функционально) существование является редким исключением, а исключения в истории - "предметы роскоши". Хорошо известный пример такой "роскоши" - греческий полис, ранняя модель самоуправляющегося общества, в котором *koinonia* ((сообщество) свободных граждан трактовалось как своего рода "естественное" образование. Другой пример - римская *res publica*, форма осуществления власти *populus Romanus* ("римского народа"), выразившаяся главным образом в категориях публичного права. Но, так же как и римская идея республики, практика греческой демократии была задавлена эллинистическими империями и, превратившись в пустую фикцию, зашла в имперский тупик. Таким образом, эти раннеисторические образования не оказали непосредственного влияния на социальное развитие Европы. Конечно, не было ничего более далекого от средневекового Запада, чем демократия; с республикой "флиртовала", причем в весьма аристократическом духе, лишь горстка итальянских городов-государств. Тем не менее там сохранилась органическая историческая преемственность, которая подготовила развитие современной Европы. Причина того, что западный феодализм оказался способным сохранить категорию *populus seu societas civilis* ("народ или гражданское общество"), заключается отнюдь не в том, что он считал себя наследником античности и читал труды Аристотеля - Византия являлась преемником более верным, а некоторое время даже ислам казался в этом смысле более достойным. "Политика" Аристотеля, его

"Философ" были раскопаны средневековыми западными учеными людьми в арабских библиотеках, где их арабские коллеги не знали, что с этим, в отличие от рукописей по математике, астрологии и медицине, делать. Так произошло потому, что категория *populus seu societas civilis*, в определенной степени знакомая западному феодализму, не имела ничего общего с двумя другими цивилизациями. Для того чтобы соответствовать абсолютно новой государственной формуле в Европе начала нового времени, первоначальная форма "гражданского общества" должна была быть высвобождена из своего "феодалного контекста". В то же время следует отметить, что эта "операция" не была ни особенно новой, ни совершенно необычной, поскольку сама история намного раньше как создала данную категорию, так и определила ее отношение к государству. Этого не случилось ни в Византии, ни в районах распространения ислама, ни, например, в Китае, то есть в других культурах, которые в течение длительного времени гордились более высокими "признаками цивилизации". Не случилось этого и в Киеве.

Ни одна культурная морфология сама по себе не дает оснований для подобных сравнений. Черты развития Запада определяются условиями его генезиса, и понять его можно главным образом, исследуя его отличия от других цивилизаций. Византия с охранительной негибкостью держалась особой половиной старой модели интеграции, формально разделившейся гораздо раньше (в 395 г.), - осколков Восточной Римской империи с ее традиционно городской цивилизацией и централизованной, бюрократической структурой государства. Несмотря на то, что ислам продемонстрировал экспансионистскую гибкость, соединяя арабские

традиции с наследием как Месопотамии и Персии, так и южной половины *Orbis Latinus* ("латинского мира"), исламский мир в целом следовал типичной древней модели развития высоких культур, включая городские цивилизации разного происхождения и элементы персидской и византийской централизованной государственной структуры в свою собственную военную и теократическую автократию. Первые 500 лет истории Запада продемонстрировали совершенно необычный "старт" в становлении цивилизаций. Этот старт происходил в условиях дезинтеграции, а не интеграции, в условиях гнущей цивилизации, ре-аграризации и растущей политической анархии.

В действительности на Западе происходила интеграция особого рода, сплавление античного и варварского наследия (которое Византии удалось исключить с помощью Пирровых побед), причем это было не простое соединение различных элементов, как в исламе, а их настолько органичное сплавление, что в "темные века" все больше казалось, будто эти элементы настолько проникли друг в друга, что происходит их взаимонейтрализация.

В настоящее время становится все более ясным, вплоть до деталей, что эта фрагментация всего и вся в значительной степени послужила предпосылкой той особой динамики развития, которая позже, в первые три века нашей эры, обусловила резкие отличия от двух других преемников Рима. Позвольте мне рассмотреть три аспекта всего лишь одной группы связей. Зажатому в систему аграрных отношений и локальные структуры, где единственным источником благосостояния и престижа была земля, Западу пришлось выбираться из тупикового и узкого места античности и любой другой высокой

культуры древности - хронической стагнации сельскохозяйственных технологий и производительности. Именно начавшаяся в "темное время" "аграрная революция" подготовила условия для рождения нового типа городской культуры, которая стимулировала демографический взрыв, почти удвоивший в 1000-1300 гг. население Европы. С другой стороны, характерной структурной предпосылкой специфически западной схемы возникновения городской культуры и автономного города было крушение "публичной власти", то есть политического суверенитета. Естественно, что несуществующие централизованные государства не могли превратить развивающиеся города в центры реализации несуществующих административных, военных и экономических функций, как это могло произойти в Византии или в зонах распространения ислама. Западные города "прорастали в щелях" между суверенитетами соперничающих властей, как бы впитывая в себя элементы суверенитета. Вклинившись при этом между находившимися под управлением различных политических и законодательных властей аграрными экономическими структурами, эти города могли эволюционировать таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось развитие новой формулы - автономной городской экономики. Третий аспект - это то, что взаимодействие аграрной революции и автономного города подготовило ту урбанизированную основу, которая вплоть до нового времени не смогла создать города с многомиллионным населением (несколько таких существовало в исламских государствах в эпоху правления Аббасидов и в Китае при династии Сун), но, тем не менее, сформировала густую сеть городов и наладила интенсивный товарообмен. Их абсолютное господство над всей экономической и

социальной структурой осуществлялось таким образом, который не знала ни одна из предшествующих высоких культур.

В последние десятилетия историки реабилитировали "темное время". Конечно, развитие Запада нельзя оценивать на основе критериев, неизменных для существования цивилизации на протяжении длительного периода времени с начала новой эры. Варварское разорение Византии в 1204 г. продемонстрировало тогда все еще присущий крестоносцам комплекс неполноценности; в то же время ученые эпохи "Ренессанса XII в." были полны смиренным восхищением перед *orientale lumen* ("восточным светочем") - знанием античности, обнаруженным в Кордове и на Сицилии благодаря арабам. Тайна западного пути не в фаустовском духе Шпенглера и не в контрастирующей с циклической динамикой азиатских цивилизаций "кумулятивной" модели развития, а в овладении таким его ритмом, когда накапливающиеся изменения неизбежно приводят к изменению структуры как таковой. С другой стороны, можно утверждать, что сами структуры были такого типа, что обладали врожденной способностью перерастать свои собственные рамки. Насколько же прав был Иштван Бибо, отождествляя западную модель с "движением", а отклонение от нее - с "неподвижностью"! Предпосылкой для динамичного развития и интеграции Запада после рубежа тысячелетий стала наблюдавшаяся еще раньше дезинтеграция, одновременно являвшаяся необходимым условием для разделения "общества" и "государства".

*

Рассматривая "общество" отдаленных исторических эпох, следует учесть, что этот термин отнюдь не подразумевает "народ в целом"; подразумевающая это интерпретация является *sub specie historiae* совершенно новой, насчитывающей едва ли два столетия. Структура цивилизации и ритм ее развития определяются множеством различных факторов, действующих на глубинных уровнях экономики и общества, но кристаллизация тех или иных форм всегда зависит непосредственно от функциональных отношений, которые задаются в сфере политики для небольшой отдельно взятой части общества внутренними условиями и нормативными ценностями конкретной структуры. Эта часть общества не обязательно тождественна "правлящему классу", который сам по себе в большинстве случаев достаточно сложно определить точно.

В тех высоких культурах, которые известны истории, подобное функциональное соотношение реализовывалось преимущественно "сверху вниз". В этом контексте не имеет значения, была легитимность власти исключительно теократической (как в исламском мире со времен первых халифов), принципиально светской (как в конфуцианском Китае) или же объединяла эти две характеристики (как в Византии, где соединились древняя и восточная легитимность). Безразлично, являлась конституциональная структура по преимуществу военной (как в исламе), по преимуществу гражданской и бюрократической (как в Китае) или же представляла собой баланс этих двух принципов (как в Византии). Первая общая черта - то, что безотносительно к полной монополии государства на землю (при исламе), ее отсутствию или же частичной представленности (Византия и Китай) группы, непосредственно

осуществляющие власть, в подавляющем большинстве занимали как в центре государства, так и на местах позицию, которую Макс Вебер назвал позицией "пребендальной" зависимости. Вторая общая черта - то, что город с самого начала находился в центре гражданского и военного управления, основной государственной "структуры налогообложения", а также товарообмена, который обычно контролировался непосредственно государством, так что моделью заселения такого города стал конгломерат осуществлявших местную власть землевладельцев, гражданских и военных чиновников, купцов и ремесленников, не обладавших однородным юридическим статусом или автономией. Третья общая черта - то, что в самом городе между лицами, осуществлявшими государственные функции, и крестьянством, юридический статус которого также был по преимуществу неоднородным, сохранялось (если это вообще происходило) лишь несколько "промежуточных" групп населения с независимым социальным и правовым статусом, не имевших большого веса. Разумеется, эти структуры до определенных пределов управлялись центроостремительной силой, что весьма характерным образом принимало форму борьбы за превосходство между различными группами осуществляющего власть слоя, например, между придворными кликами (духовенство, мандарины или "преторианская гвардия") и региональными группами, или между фракциями внутри гражданских и военных группировок. Это могло закончиться разделом империи между представителями династии (ислам), способствовать уничтожению самой цивилизации (Византия), а при определенных условиях - привести также к последовательному (как бы по спирали) усилению имперских центров (Китай). Очень

важно, что каждая часть империи сохраняла структуру первоначального целого: социальные сдвиги обычно осуществлялись через придворные интриги, дворцовые революции и военные перевороты, не связанные с теоретическими изменениями в отношении "политической части" общества к государству.

Запад и в этом смысле создал совершенно новую модель. Она начала формироваться одновременно с произошедшим менее чем за 300 лет

(VI-VIII вв.) фактическим распадом и исчезновением обеих концепций государства, напряженные отношения и последующая кратковременная параллельность развития которых определяли их суть. Новая исполнительная власть германского *regna* ("государства") с ее священными принципами исчезла столь же несомненно, как и институциональная система *Imperium* ("империи") и римское публичное право. Но разложение коснулось не только "государственной" сферы - в изначальном "социальном" каркасе также наблюдалась глубокая трещина. Германские племена и народы разделились столь же кардинально, как и социально-юридическая общность, объединявшая то, что осталось от римского *populus* ("народа"). Первые, если не обращать внимания на все измышления по поводу их происхождения, представляли собой зависимые от структуры власти (*Heerkonigtum*) эпохи великого переселения народов образования, тогда как последние (безотносительно всех спекуляций на тему публичного права) вели свое происхождение от структуры власти, сложившейся в эпоху Империи. По мере крушения публичной власти политический суверенитет как таковой становился пустой иллюзией и исчезал параллельно с исчезновением в обществе всех

традиционных связующих сил. Изначально даже главная кристаллизующая сила, частная собственность на землю, способствовала политической и социальной дезинтеграции.

Только одно учреждение не распалось на части в результате исторического развития - церковь. Это имело по меньшей мере столь же важное значение, что и процесс дезинтеграции. В условиях хаоса и вакуума власти западная церковь освободилась от зависимости, которая, начиная с периода правления Константина Великого, в эпоху поздней античности (337 г.) воспринималась как сама собой разумеющаяся и при которой *ius sacrum* ("священное право") стало частью *ius publicum* ("публичного права"). Эта зависимость позднее была воспроизведена на более высоком уровне Юстинианом в Византии (529 г.). Освобождение римской церкви от "цезаропапизма" стало результатом падения Римской империи. Именно святой Августин сформулировал мысль о том, что христианское "общество" (*societas fidelium*) обладает идентичностью, не зависящей от соответствующих отношений власти, причем в силу необходимости данное общество включается в эти светские отношения, в результате чего происходит "взаимное смешивание" (*invicem permixta*). Вскоре папа Геласий (493 г.) использовал эту идею в деятельности реальных учреждений. Разделение духовной и мирской, идеологической и политической сфер на Западе было необычайно плодотворным, и без него никогда не состоялись бы будущие "свободы", теоретическая эмансипация "общества", будущие национальные государства, равно как Ренессанс и Реформация.

Произошло также другое разделение, важное с точки зрения исходных структур. Первые Каролинги попытались синтезировать на

основе симбиоза античности и варварского мира некое политическое целое. Это можно интерпретировать и как единственную попытку Запада (стимулом для которой стал рефлекс большинства более ранних и современных ему высоких культур) интегрировать различные культурные наследия, иными словами - связать идеи "цивилизации" и "имперской" интеграции. "Восстановление" Imperium около 800 г. было равносильно попытке возродить сохраненные римской церковью древние имперские традиции, используя последние резервы учреждений франков. Но их потенциал был уже исчерпан, и новый, формировавшийся снизу институт вассальной зависимости завершил разрушение этого временного сооружения. Следовательно, Карл Великий пытался создать баланс в нестабильной по сути конструкции. Таким образом, на Западе раз и навсегда было решено, что "цивилизация" и "политический каркас" раздельны. В этом контексте не следует заблуждаться по поводу выживания на Западе в течение еще трех веков после 962 г. идеи сохранения Imperium Romanorum (Римской империи), которая фактически едва ли означала что-то большее, чем иллюзорную политику германских князей по отношению к Италии. Единственным очевидным результатом этой политики стала отсрочка возможности создания единого германского государства вплоть до XIX в., что само по себе способствовало оформлению новой региональной концепции "Центральной Европы".

Стабильность Запада, однажды определившегося в своих основных компонентах, в течение длительного времени обеспечивалась как раз невозможностью объединить его "сверху". Силловые попытки интеграции начались "снизу", и на первом этапе (IX-XI вв.) обрели специфическую вертикальную структуру.

Развитие вассальной зависимости стимулировалось не только определенными "победными" мотивами, но и крайней необходимостью, поскольку исчезновение публичной власти означало, что определенный вид персональной правовой зависимости мог сам по себе обеспечить, с одной стороны, защиту, а с другой - приобретение еще большей власти. Личная зависимость как таковая новшеством не являлась; как германская военная дружина (*comitatus*, *Gefolgschaft*), так и позднеримская *clientela* (клиентела) относились к тому же типу. В действительности эта форма была знакома всем феодальным обществам, даже кочевникам, и представляла собой некое связующее звено между феодальными обществами от Киевской Руси до Японии. Западный вариант вассальной зависимости отличался от других, во-первых, полным охватом всех тех общественных элементов, которые после распада социальных связей сохраняли определенную свободу, и, во-вторых, своим утверждением не в качестве примыкающего к государству или подчиненного ему, а вместо государства, так что "государственная" формула оказалась вытеснена формулой "социальных" отношений. Но западный феодализм имел и другие особенности, которые с течением времени распространялись все ниже, под реально существовавшее "феодальное общество", и с помощью различных трансформаций сохранялись как таковые в течение многих столетий.

Одной из таких особенностей была "контрактная", договорная природа вассальной зависимости. Традиция вассальной

зависимости при феодализме всегда предполагала вступление в принципиально неравные взаимоотношения двух личностей - имеющей власть и более слабой в социальном отношении. "Верность" всегда была односторонней обязанностью вассала. Но с самого начала традиционные обязательства включали также право сеньора; более того, *fidelitas* ("верность") как таковая предполагала, в том числе функционально, выполнение более могущественным партнером его контрактных обязательств. Если же он не выполнял их, обвинение в *felonia* ("тяжелом преступлении") - нарушении контракта - предусматривало применение к нему такого же насилия, как и к "вероломному" вассалу. Неравные отношения, определявшиеся взаимным договором, согласно которому обе стороны несли определенные обязательства, являлись той чертой западного вассалитета, которая внутренне эволюционировала и при определенных условиях могла превращаться в фикцию. Тем не менее это была "продуктивная" фикция, выступавшая в качестве ценностной нормы - разумеется, и в более позднее время также. Естественно, на рубеже XII-XIII вв. отношение землевладельца к крестьянину допускало наличие определенного контрактного элемента не потому, что на рубеже IX-X вв. он появился в высших слоях общества, а в силу динамики развития, причем новый, горизонтальный тип интеграции подразумевал также и на уровне крестьянства ограниченную и условную разновидность "свободы". Такая подчеркнута "контрактная" форма, применяемая в условиях гораздо более глубокого неравенства, относится к тем характерным "состояниям", которые, по терминологии И.Бибо, являлись ключевыми для определения феноменов, существовавших на протяжении веков и

обусловленных, причем не только психологически, социальной структурой.

Второй особенностью было сохранение человеческого достоинства даже в условиях подчинения. За пределами Европы в целом и в том числе в русских княжествах "служилый человек" должен был кланяться до земли, целовать руку своего господина или даже падать наземь и целовать край его одежды. В западном церемониале *homagium* (принесения феодальной присяги) вассал должен был опуститься на одно колено с поднятой головой и затем обменяться рукопожатием со своим господином. Новые отношения окончательно скреплялись взаимным поцелуем. Эпоха, выражавшая все в подчеркнуто демонстративных символах и эффектных жестах, не могла найти лучшего способа отражения основной модели тех отношений, которые стремились любыми путями воплотить этот символизм на практике. Его влияние, в частности, на выражающие религиозные чувства жесты оказалось очень сильным. Западная поза молящегося со сжатыми руками была заимствована церковью из церемонии посвящения в вассалы. (Христиане древнего Рима обращались к богу с протянутыми руками.) Таким же образом православная традиция земного поклона и целования ступней святых берет свое начало от рефлексивных поведенческих установок служилого человека. Но в еще большей степени человеческие отношения определялись различными позициями их участников. Любое крестьянское восстание на Западе было проявлением человеческого достоинства, доведенного до крайнего возмущения нарушением контракта землевладельцем, и требованием права на "свободу". Это касается и моральных аспектов проблемы. "Честь"

индивидуума была основным элементом системы ценностей древних, а "верность" подчиненных - важнейшей в любом обществе, основанном на зависимости, хотя морфологически эти два феномена исключали друг друга: *honor* ("честь") рыцаря и *fideltas* ("верность") вассала органически соединились только в западном феодализме. Европа унаследовала понятие человеческого достоинства как одну из составляющих политических отношений не прямо от античности, а от феодализма и, разумеется, сохранила это понятие там, где человеческое достоинство продолжало присутствовать - в проходившем на Западе органическом процессе изменения форм.

Более того, территориальное следствие западного феодализма - значительное количество небольших провинций, каждая со своим обычным правом, - обеспечивало гораздо более подходящую, чем грубо и неглубоко расколотые сверху политические и административные структуры, почву для развития законности как таковой и для установления господства закона как "обычая" (*mos terrae*). В этой среде, как отметил Вальтер Ульманн в своей типологии истории права, "активно развивавшиеся" принципы права и управления могли преодолеть на местных уровнях "приходивший в упадок" механизм осуществления власти. То же относится к области культуры в целом. Множество феодальных дворов со своим многоцветьем, с одними и теми же ценностными нормами формировали с XI-XII вв. христианскую, хотя и независимо-светскую, культуру, систему ценностей и моральный кодекс. Избавившись от многих причуд и искусственности, эти дворы стали, в частности, основой для примирения "мужества" (*virtus*) и "умеренности" (*temperantia*) в поведении европейцев.

Поскольку старые принципы были почти полностью уничтожены, удивительно пестрый, церемонный, маньеристский мир феодализма на свой лад приступил также к формированию нового типа отношений общества и государства. В полностью развитой феодальной структуре административные, военные, фискальные и юридические функции государства оказались полностью отделенными от власти монарха и распределенными между ярусами феодального общества. На каждом ярусе все эти функции (каждая в отдельности) интегрировались путем слияния с аналогичной "ярусной" системой земельной собственности. Теоретический суверенитет монаршей власти, рассматриваемый как следствие божественной благодати, одиноко возвышался над всем общественным устройством, как, например, в данном Августином легитимном обосновании власти как "защитницы мира и справедливости" на этой земле. Власть короля была реальной, поскольку монарх осуществлял ее не как суверен, а как сюзерен. Можно сказать, что суверенитет, распавшись на части, оказался интегрированным во вновь сформировавшийся "политический" сектор общества, если подобное утверждение вообще имеет смысл, так как расколотая общественная формула не напоминала более ни один из видов суверенитета, а строго вертикальная схема организации феодального общества имела мало общего с каким-либо типом цельного "политического общества". Территориальный и феодально-зависимый статус не обязательно совпадали. Но в длительной исторической ретроспективе парадоксальность этого факта именно в силу своей природы приобрела чрезвычайно важное значение: идея суверенитета превратилась в нечто совершенно относительное, а ее элементы -

вынужденными нащупывать зыбкую дорогу в "общество". При желании крупные сеньоры в конечном счете могли полагать себя своего рода "политическим обществом", и именно в этой среде начала формироваться идея общественного договора, которой была уготована столь великая будущность.

У общественного договора, так же как и у любого ребенка, было двое родителей - феодализм и церковь, независимая от светской власти, но, тем не менее, вмешивавшаяся при папе Григории VII в мирские дела с явно большей "свободой", чем когда-либо раньше. В радикальном григорианском трактате (около 1080 г.) была впервые со всей силой теоретического обобщения сформулирована мысль о том, что правитель связан с народом своего рода договором (*pactum*); если же правитель "нарушает соглашение, в силу которого был избран", то сопротивление и аннуляция этого договора оправданны. Первой предпосылкой для такой постановки вопроса стал раскол единой христианской церкви на две ветви, поскольку он логически побуждал папство к теоретическому обоснованию ослабления позиции императора, и в целом к вытеснению светской власти из духовной сферы, а следовательно, к утверждению мирского и рационального происхождения власти. Так начался неостановимый процесс: возвращение европейской мысли к древним источникам, выведение политики за рамки теологии и одновременное вытеснение и окончательный отказ от остатков "варварских" концепций власти. Идея интерпретации "народа" как источника власти была заимствована из "*Institutiones*" Юстиниана, изначально, разумеется, только как легальное средство борьбы против тирании императора. Тем не менее в античной теории государства не было идеи "договора"

как таковой, хотя Цицерон время от времени ссылаясь на своего рода соглашение (*pactio*) между народом и власть имущими, а Ветхий завет упоминал также договор между старейшинами Израиля и королем Давидом, заключенный в Хеброне. Вторая предпосылка рассматриваемой постановки вопроса об общественном договоре брала свое начало не в античности, а в феодализме, контрактная основа которого стала проникать в "государственную" сферу приблизительно на 200 лет раньше. Например, франкская и аквитанская знать - высшие вассалы Карла Лысого - заявила в 856 г., что если король "в чем-либо преступит договор" (*contra tale pactum*), он будет устранен. Эта идея выросла непосредственно из понимания *felonia* (преступления) при феодализме; отношения между королем как сюзереном и его вассалами приняли уже в IX-X вв. форму псевдоконтракта, так же как приносившаяся королю клятва верности повторяла феодальную формулировку ("Я буду преданным как тот, кто обязан хранить верность своему сеньору..."). Следовательно, идее общественного договора удалось освободиться от феодальных аксессуаров, поскольку два предшествовавших века стали свидетелями формирования общества, способного строить свои отношения с государством, принимая на себя в определенной степени роль античного народа (*populus*).

Этот процесс никогда бы не начался, если бы Запад в первые три века своей истории не пережил разрушение политического суверенитета и не начал внедрять остатки этого суверенитета в схему социальных отношений, которая развивалась "снизу вверх" по вертикали в течение трех последующих веков. В следующие три столетия этот процесс смог эволюционировать дальше, поскольку

особенно динамичное развитие Запада во "втором возрасте феодализма" (1050-1300 гг.) создало горизонтальные векторы силы, разорвавшие вертикальные узы зависимости, сначала интеграционных сил общества, а затем и государства, так что разделение суверенитета между формирующимся "политическим обществом" и правителями усиливающихся монархий снова стало возможным.

*

Сформировавшаяся к рубежу тысячелетий структура отличалась одной особенностью, уникальной в историческом плане, - эта структура с самого начала была достаточно универсальной с точки зрения цивилизации и узко-локальной - с точки зрения политических связей. Продуктивное противостояние этих двух характеристик провоцировало своеобразные взрывы энергии - такие, как крестовые походы, реконкиста средиземноморского бассейна и расширение Европы - и неизбежно приводило к осознанию того, что "вертикально" инкорпорированное в феодальные отношения рыцарство в то же время представляет собой "горизонтальную" силу, поддерживающую христианство. Оформившееся в IX-X вв. представление о "пребывающих внутри Церкви" как образующих наряду со светскими державами единый мировой порядок (*oratores*), некое автономное и корпоративное институциональное целое, "мистическое тело" (*corpus mysticum*), обусловило появление идеи о том, что воины (*bellatores*) этого мира, также независимо от своей политической лояльности, просто в силу своего "функционального"

существования в обществе, также составляют некое автономное и корпоративное целое, соответствующий "порядок" . Церковь начала пропагандировать идею существования "порядков" (или "общностей" - прим.перев.) на рубеже X-XI вв., предполагая при этом молчаливое признание того, что те, кто трудится (*laboratores*), также образуют своеобразную функциональную общность. Структурной предпосылкой для этого стало отсутствие централизованной государственной власти, которая формировала бы такую "функциональность" на основе государственного организма, материальной же - резкое повышение уровня жизни и престижа рыцарства в результате аграрной революции и урбанизации, заставивших рыцарей осознать, что как "воины Христовы" они должны быть наделены правом на такую же свободу, как и "мистическое тело Христова". Поскольку во время борьбы за инвеституру центральным лозунгом была "свобода Церкви" (*libertas ecclesiae*), на той же почве выросла идея свободы дворянства (*libertas nobilium*).

Но логика событийшла дальше. Мы уже показали, каим образом разделение суверенитета обусловило появление уникальной особенности урбанизации на Западе - городской автономии, а также такого сочетания прав и сфер влияния, которое в других высоких культурах стало бы частью суверенитета государства. В "темное время" античная модель частично сохранилась в северной Италии и оттуда по мере расширения городских ареалов распространялась на северо-запад по направлению к Фландрии, а затем - на восток, что способствовало также вычленению на Западе новой идеи свободы (*libertas civium*) из функциональной системы идеалов трудящихся.

(*laboratores*). Новый слой бюргеров не мог рассматриваться как разновидность пестрого городского "простонародья". Хотя около 1120 г. французский аббат Юбер де Ножан с негодованием отмечал, что все западное христианство повторяет "новые дьявольские названия общин..., которые были образованы слугами вопреки всем юридическим и божественным установлениям", фактически это подтверждало завершение формирования структуры. Спустя два или три поколения преемники разгневанного аббата рассматривали существование общин в контексте множества существующих в мире "свобод" как одну из самых естественных вещей, вытекающую из естественного (т.е. божественного) права даже теоретически.

Между римской *respublica* и Французской революцией в западной истории не было другого периода, который бы столь же громко и часто провозглашал лозунг свободы, как XII и XIII века. В этом хоре слышался также голос крестьянства - поначалу поселенцев на новых землях, а затем все больше - и остальных, поскольку у них было оружие - угроза двинуться в города, резко выделявшиеся как образцы предоставления бесспорных прав. Кроме того, позицию крестьян подкрепляли различные факторы, обусловленные экономической динамичностью "второго возраста феодализма" и оказывавшие либо убеждающее, либо принуждающее воздействие на землевладельцев того времени. Все эти факторы логически способствовали распространению "свобод" на самые низшие слои и формировали организующий принцип структуры. В то же время на более низких ступенях социальной иерархии становилось все яснее, что слово *libertas* ("свобода") выбито лишь на одной стороне монеты, ценность которой определяется обозначенным на обороте

"привилегированным правовым статусом". Конечно, феодальные системы и в других регионах были знакомы, даже на уровне крестьянства, с определенным понятием свободы, но ярко выраженной западной особенностью отмены сервитута было обеспечение всего крестьянства одинаковыми и безусловными, хотя и ограниченными, правами, не только освященными "обычаем", но и гарантированными письменно в форме "договора". "Ни один налог не может взиматься, если он не зафиксирован письменно" - этот принцип, сформулированный в 1142 г., распространился из северной Франции до самых границ *Europa Occidens*.

"Множество небольших ареалов свободы", как И.Бибо определил основу развития Запада, группировалось вокруг нескольких основных моделей. Единство в рамках "множества" означало, что "свободы" стали внутренне организующими принципами структуры, что привело к складыванию "общества" как автономного целого. Это, в свою очередь, привело к резкой разграничительной линии между средневековым Западом и многими другими цивилизациями. Границы между отдельными ступенями иерархической лестницы всегда проводились какой-либо высшей властью, но, поскольку последняя не отождествлялась с суверенитетом, повсюду существовали переходящие из поколения в поколение правовые принципы и "обычай", передающиеся снизу вверх. Чем меньшими становились свободы, тем более интенсивно они развивались. Даже в самой маленькой деревне сама сельская община применяла множество мелких правил, касавшихся различных вопросов, начиная с регулирования землепользования. Расширение этих прав параллельно с процессами на более высоких ступенях

иерархии достигало такой степени, что сам правитель не мог сделать ничего существенного без *consilium et auxilium* ("совета и помощи") своих вассалов. Именно совокупность этих коллективных прав, узаконенная обычаями, называлась "свободами". Сама эпоха искала и нашла абстрактное понятие, определявшее общие элементы "множества".

Можно утверждать также, что развитие само по себе формировало как теоретически, так и практически социальные группы, функционировавшие более или менее автономно. Эту же мысль можно сформулировать более выразительно - само автономное социальное существование стало принципиально легитимным. С одной стороны, наблюдались новые реальные факты, с которыми следовало считаться, а с другой - наряду с идеей святого Августина о самом христианстве как своего рода "обществе" с двойным бытием существовал также христианский философский принцип "единства множества". Два *civitates* ("сообщества") у святого Августина означали не два "государства", а двойственное "общество" (*duas societates hominum quas mystice appellamus civitates duas*). Согласно этой концепции, ставшей в

IX-X вв. господствующей, общество христиан было воплощено на Земле Церковью, и, следовательно, имело корпоративную природу, то самое уже упоминавшееся выше "мистическое тело". Поскольку Часть отражает Целое, теология вскоре положила начало развитию своего рода "политической теологии", которая достигла своей вершины в "*Policraticus*" Джона Солсбери (1159 г.). Последний трактовал любую законно существующую человеческую общность, включая само государство, как разновидность *corpus mysticum*

politicum ("политического мистического тела") , и искал общие принципы его функционирования. Решительный поворот произошел после того, как в Болонье в XII в. в результате изучения полного свода римского права зародилась европейская юриспруденция, которая привела к развитию оригинальной средневековой теории общества и государства, свободной от ряда черт, присущих как теологии, так и античной мысли. Путь, уведивший от теологии, вел через глоссаторов, классических юристов и комментаторов, через труды святого Фомы Аквинского к схоластике, а также через деятельность легистов к политической публицистике. В целом этот плодотворный период (с которым можно сравнить лишь эпоху от Бодена до Монтескье) достиг своей вершины в "*Defensor pacis*" Марсилия Падуанского (1324 г.) - наиболее ярком произведении, характеризующем природу структуры в концентрированном виде.

Как ни странно, то, что некоторые мыслители полностью погрузились в спекулятивные абстрактные рассуждения, которые сегодня кажутся удивительно незначительными, на деле оказалось полезным, поскольку иначе было бы трудно подвести под общий знаменатель принципы функционирования общностей различных типов - деревень и городов, провинций и королевств, а также над всеми возвышавшейся универсальной Церкви. (Эта пятичленная типология была распространена наиболее широко.) Именно эта склонность к умозрительным построениям способствовала теоретическому прорыву: реальные явления должны были быть интерпретированы таким образом, чтобы выявить определенный общий признак, а это, в свою очередь, оказывало влияние на действительность. Например, ставился вопрос, можно ли считать

рыцаря или какое-либо другое подчиненное сеньору лицо "гражданином" в смысле античного "civis" или итальянского горожанина, и могли ли их отношения быть "civilis" ("гражданскими"). Следует ответить: "Едва ли". Но, поскольку мыслители того времени считали именно так, они вычленили в этих отношениях определенные объективные, "структурные" элементы, которые затем воздействовали на саму структуру.

XII и XIII века добавили к существовавшей ранее теоретической базе, обосновывавшей "свободы", три новых концепции освобождения.

Прежде всего, от одностороннего статуса субъекта (*populus subditus*) теоретически должны были быть освобождены различные группы (здесь и далее разрядка автора), подчинявшиеся различным властям. Следовательно, была создана модель, с помощью которой любой законно существующий "народ" в то же время представлял собой общность (*universitas* или *communitas*) корпоративного характера (*corpus*). Эти общности были включены во "всеобъемлющие организмы" христианского общества в качестве автономных "сообществ", выполнявших каждое свою собственную общественную функцию (*societas publica*). Наиболее радикальные мыслители, такие, как Балдус де Убалдис, пришли к канонизации существования любой общественно полезной социальной группы без позволения или поддержки высшей власти (*sine auctoritate principis, absque licentia superioris*). Каждое такое автономное сообщество должно было, в соответствии с принципом "представительства" и в противовес высшей власти, иметь статус законной или политической единицы (*persona ficta* или *politica, representata*), который реализовывался бы

через совокупность прав данного сообщества. Естественно, мыслители того времени разделяли точку зрения на христианство как организм, состоящий из сообществ различной величины, которые функционировали на основе внутренне тождественных принципов.

Во-вторых, от одностороннего статуса субъекта (*fidelis subditus*) теоретически следовало освободить *индивидуумов*, подчинявшихся различным властям, что логически вытекало из предшествующей идеи освобождения. С помощью перевода важнейших форм отношений реальной жизни в концентрированные нормативные категории был сделан теоретический вывод о том, что каждый индивидуум является частью мироздания в силу двойственности своего статуса: кроме подчиненного, он является также равноправным "членом" некоей социальной общности (*membrum communitatis, societatis*), и, таким образом, он наделяется в сообществе определенными правами; иначе говоря, он предстает собой элемент горизонтальной законно существующей формулы, невзирая на отношения зависимости, участником которых является.

В-третьих, с теоретической точки зрения также должно было быть освобождено природное существо, подчиненное и верующее в Христа, как аристотелевское "*существо политическое*" (*animal politicum*); для этого было необходимо вычленить учение о политике из этики, куда первая на длительное время включалась теологами. Это сделали не юристы, а философы, которые первыми определили политику как *ethica publica* ("общественная этика"), а затем ясно показали (Фома Аквинский), что человек "по природе" своей существо политическое, а "политические достоинства", помимо христианских и "теологических добродетелей" веры, надежды и любви, сами по себе

являются факторами формирования общности. Слово "*politizare*" появилось в общем "языке" Запада приблизительно в 1250 г. В то же время в теоретических размышлениях наблюдалось определенное отступление от натурализма Аристотеля, так как в результате восприятия неостонцистской модели римлян политические качества человека стали с помощью двух противоположных понятий *naturalis - civilis* ("естественное" - "природное") трактоваться в этих размышлениях как нечто большее, чем "природное" свойство. Таким образом, понятие "*societas civilis*" ("гражданское общество") появилось на Западе в середине 13 в. как синоним охарактеризованного выше понятия "автономное общество", воспроизводя античное *populus* ("народ"), понимаемое как "единство закона и общественного блага" (*unitas juris et publicae utilitatis*), то есть еще более многозначительно - как основная модель "политического общества" и *civilis* ("гражданских") отношений.

Эта модель нуждалась в проверке действительностью с двух точек зрения. Во-первых, в контексте хитросплетений феодального подчинения, где такая проверка зависела от отношений власти, а во-вторых, - с точки зрения феодального государства. Разумеется, среди "сообществ" даже около 1200 г. в принципе оставалось место для категории *communitas regni* ("королевская община"), и, более того, она считалась высшей в иерархии существовавших на земле общностей. Но это вряд ли имело значение, поскольку рамки монархии сами по себе были в то время явной фикцией.

*

Для развития Запада было характерно не только наличие структуры, способной стимулировать развитие подобных идей, более того - так же как в таблице Менделеева были оставлены клеточки для еще неоткрытых элементов - теоретическая мысль заблаговременно обозначила место для "общественного" полюса государства и определила отношения правителя и политической части общества задолго до того, как эти отношения были институционализированы в форме сословных собраний (Генеральных штатов во Франции - прим.перев.) около 1300 г. Забавно, что практике пришлось в данном случае более или менее следовать за теорией.

Такое развитие событий стало результатом действий не только правоведов, но и главы христианского мира, искавшего союзников в борьбе против императора среди монархий, которые остались за рамками конфликта между *Sacerdotium* ("первосвященником") и *Imperium*. Когда папа Иннокентий III провозгласил в своей знаменитой булле 1202 г. принцип "*rex imperator in regno suo*", он заранее благословил суверенитет национальных государств, которые в то время находились еще в процессе формирования. Этот принцип гласил, что король должен быть наделен всей совокупностью прав, предоставлявшихся суверену римским законодательством, а до тех пор являвшихся исключительной прерогативой императора. Парадоксально, но всей "полнотой власти" королей наделил, по крайней мере теоретически, наместник Христа на Земле, в то же время считавший, что все власти в мире обязаны хранить верность папе. Высшая духовная власть наделила власти земные абсолютно светской легитимностью; универсальная высшая власть поддержала национальные государства, которые впоследствии

быстро уничтожили универсализм. Спустя столетие сильнейшее из этих национальных государств - Франция - привело эту высшую духовную власть в лице папы Бонифация VIII к краху. Такие продуктивные парадоксы также были типичны для развития Европы.

В действительности, конечно, усиление монархий началось не потому, что его санкционировал папа (во всяком случае, римское право было открыто без его позволения), а благодаря появлению властных возможностей для государственной интеграции. Это представляло собой нечто новое. Урбанизация была таким же новшеством, как и социальный слой дворянства, возникший благодаря трансформации феодального права "за спиной" крупных феодалов, а также социальный слой юристов, подготовленных церковью. Новорожденные национальные государства появились примерно через 500 лет после того, как имперские и германские институты были заимствованы на ранних ступенях развития соответствующих цивилизаций. Национальные же государства олицетворяли собой совершенно новую структурную формулу. События, приведшие к подъему французской монархии из прежнего состояния феодальной раздробленности в период от Филиппа Августа до Филиппа Красивого (1180-1314 гг.), в целом хорошо известны.

Римское право и теория государства, несмотря на все их богатство, отражали двойственный подход к наиболее деликатной проблеме, поскольку основой для их развития стало объединение республиканского и имперского принципов. Утверждение Ульпиана о власти как изначально принадлежавшей народу, а позднее перешедшей к императору, могло привести как к "суверенитету народа", так и к абсолютизму в зависимости от того, что именно из

этой синкретической части теоретического наследия римлян выбиралось, и как расставлялись акценты. Конечно, впоследствии именно это наследие сделало возможным определение суверенитета, а изменения в реальной жизни подвели к самой постановке данного вопроса, поскольку уже существовали правители и социальные силы, отношения между которыми следовало определить. И первые, и последние не были производной друг от друга, как, например, в исламе, где такой вопрос даже не поднимался, так как теократическая неограниченная власть халифа, а позже эмира или султана, рассматривалась как "воплощение" священного закона, шариата, распространявшегося на политику, военные проблемы, налогообложение и юрисдикцию. Развитие Запада с самого начала шло иначе, поскольку уже германский правитель был связан "обычаем", олицетворявшимся центральными фигурами общества, а Церковь еще в раннее средневековье добилась принятия тезиса о моральной обязанности христианского правителя осуществлять принцип Августина "*pax, iustitia, pietas*" ("мир, справедливость, благочестие"). "Тиран", не выполнявший эту обязанность, мог быть законным образом лишен трона. Но в то же время теория государства переплелась с упоминавшейся выше политической теологией в силу того, что король был лишь "главой" "мистического тела" государства, среди "частей" которого он должен был поддерживать гармонию. В этой идеологической структуре оставались неясными следующие моменты: выявление в реальной жизни тех членов *corpus politicum* ("политического тела"), к которым перешла функция римского *populus*, и характер этой функции - республиканский или имперский.

Эти моменты были выяснены в XIII в. на основе аксоны о "народе" как источнике власти. Едва-ли кто-либо, за исключением крайне настроенных иерархов из папского окружения, оспаривал данный тезис. Божественная благодать уже не представляла большой проблемы, поскольку ее можно было легко разрешить с помощью положения о том, что в конечном счете власть, естественно, берет свое начало от Бога, но через посредство "народа" (*mediante populo*). Уже для глоссаторов XII в. - некоторые из которых по-прежнему мыслили так доктринерски, как если бы император Юстиниан все еще правил миром - ключевым был вопрос о том, передал народ всю свою власть (*omne suum imperium*) правителю или же "сохранил часть ее", как ранее провозгласили Одофред и другие, включая болонское большинство. Более того, некоторые представители этого кружка, например, Гуголин, весьма радикально заявляли, что король только возглавляет государство в качестве *quasi procurator* ("квази-распорядителя"). А кто же были те "все", из которых состоял "народ"?

Данный в XIII в. ответ определил их как *civilis societas* ("гражданское общество"), вид корпоративной общности, которая сама могла воспроизводить себя в рамках монархии так долго, как долго она существовала в городе или провинции. Кем же были члены этого "общества"? Конечно, в то время признали, что в широком смысле "народ" означает "всех людей", но народ сам по себе представляли как всего лишь *naturalis* ("природную") массу, толпу, а не *civilis* ("гражданское") "общество". Понятие, ставшее для разрешения данной проблемы ключевым, вошло в качестве составного элемента в принцип "представительства" корпоративной теории. В силу постоянства идентификационных признаков общность

представляла собой *persona politica* или *representata* ("политическую или представительскую единицу"), нечто большее, чем просто общую сумму ее членов, причем данное свойство она приобрела благодаря тому, что ее "качественный" компонент, то есть *qualitate* ("качество"), а не *pluralitate* ("численность") "представлял", то есть олицетворял ее как *pars sanior*. Фактически уже перед появлением первых сословных собраний стало ясно, что церковь, дворянство и бюргеры как элита среди "членов" *corpus politicum* ("политического тела") "представляют" *communitas* ("общины") королевства перед "главой" политического тела - правителем.

Эта идея *pars pro toto* ("часть за целое") была столь же аксиоматичной, как и широко распространенное в XIII в. представление о народе не просто как об историческом и теоретическом источнике власти, но и как о принимающем определенными способами участие в осуществлении этой власти. Что бы ни происходило, понятие *regimen politicum* ("политическое руководство") можно было обоснованно отнести только к правительству, в котором существовало определенное разделение власти. Каким же образом она должна была распределяться? Многие оставили этот наиболее трудный вопрос без ответа, удовлетворившись идеей о разделе суверенитета неким неопределенным образом внутри политического тела. Несколько более точный ответ дало привлеченное в эту сферу теоретической мысли естественное право, обратившись к некоторым "абсолютистским" элементам античной теории. Еще до 1300 г. было доказано, что возможен исключительный "случай крайней необходимости" (*necessitas*), как, например, вторжение, восстание или появление ереси,

когда естественное право должно предоставлять правителю (который в таких случаях является *lex animata* - "одушевленным законом") полномочия действовать свободным от соблюдения этого закона образом (*legibus solutus*), то есть руководствоваться во взимании налогов и объявлении войны только своими мотивами. Но поступать так он мог только в экстремальном случае, имея в виду "общественное благо". Античная интерпретация имперского порядка как равного закону была действительна только в данном случае. При нормальных условиях ориентиром служили общечеловеческие правовые нормы (*lex humana*), являющиеся производной от естественного права и применявшиеся к "народу", а сам король как правитель подчинялся закону (*rex sub lege*). Античные теории абсолютизма можно было уравновесить другой концепцией, извлеченной из глубин Священного писания для того, чтобы стать лозунгом феодального "парламентаризма" - касающееся всех должно быть одобрено всеми (*quod omnes tangit, ab omnibus approbetur*). Следующий шаг был сделан Марсилием Падуанским, четко определившим понятие "законодательная власть" (*legislator humanus*). Правитель как административный глава государства (*administrator rei publicae*) мог действовать и отдавать распоряжения только в силу своих полномочий, полученных от законодательной власти; в то же время он сам по себе являлся относительно других представленных в ней "частей" государства лишь "частью", хотя и важнейшей ("*pars principans*"). Эта теория содержала зародыши того, что в наше время называется "разделением властей".

Структура, теоретическое развитие которой завершилось в течение одного столетия, начала функционировать практически на

рубеже XIII-XIV вв. в форме сословных собраний, хотя и не слишком эффективно по двум причинам. С одной стороны, несовпадение личных интересов различных представителей феодального общества скорее сдерживало, чем содействовало деятельности государства, а с другой, вся экономическая и социальная структура Запада вступила ко времени появления этого политического механизма в полосу глубокого и длительного кризиса. Не стоит искать в средневековье ни какой-то идеальный прообраз "парламентаризма", ни зародыши демократии. В то же время низкая эффективность рассматриваемого политического механизма, избирательный характер "политического общества" и феодальные параметры "свободы" не умаляют успехов, достигнутых в то время, когда модели сформировались как таковые и оказались очень эффективными в микроструктурах. Происходившая в то же время средневековая "техническая революция" создавала как убогие и неэффективные, так и великое множество успешно функционировавших и абсолютно неизвестных античности механизмов. Большинство из них вообще едва ли похоже на современные машины, но это не меняет того факта, что работающие механизмы со многими приспособлениями или маховик, поддерживающий стабильность вращения во время работы ветряка, были не менее важны, чем открытие центробежного регулятора и принципов синхронизированного контроля. Историки инженерного дела считают закончившуюся в XIV в. средневековую техническую революцию "почти столь же значимым" вкладом в начавшуюся в XVIII в. современную промышленную революцию, "как открытие побережий Старого Света и Америки".

В заключение следует рассмотреть еще одно важное обстоятельство. На средневековом Западе понятие "общество" естественно приобрело форму, обусловленную его структурой, хотя базовая модель сохранила также присущую ей способность к сужению и расширению. Ставшая для западного правителя нормой ответственность перед "народом", не означала, разумеется, что он несет ее перед своими "подданными" в целом или перед физически представленными делегатами сословий. Правитель находился под контролем *populus* ("народа"), который рассматривался любым юристом как корпоративная идентичность и легитимное целое, составлявшее нечто большее, чем просто сумма его членов и "никогда не умиравшее" (*nunquam moritur*). Несмотря на свою тонкость, это различие открывало новые перспективы, поскольку данная модель подразумевала правителя, теоретически несущего ответственность перед абстрактно понимаемым "обществом".

III.

Отправка легатов в Кведлинбург (973 г.) и присылка папой Сильвестром II короны королю Стефану (1000 г.) традиционно рассматриваются как события, включившие венгров в жизнь христианской Европы. Несомненно, сразу после того как первый помазанный король Венгрии, осознав опасности и преимущества западной экспансии, принудил венгров принять христианство (так же, как поступили Пясты с поляками, а Пршемысловцы - с чехами), название *Europa Occidens* быстро распространилось на весь регион.

Понятие "Запад" продвигалось вместе с католичеством, но в течение длительного времени цивилизация и структура относились к разным системам координат.

Юриковичи заставили русских по своему примеру принять христианство из другой части Европы, но первоначально структуры государства и общества в землях "новых варваров" демонстрировали больше внутреннего сходства, чем Эстергом (или Гнезно, или Прага) с Римом или стольный Киев с Византией. Не имело также особого значения, у Запада или у Византии были восприняты институциональные модели, поскольку Киевское государство испытало со стороны норманнов влияние по меньшей мере столь же сильное, как и со стороны Византии. Общим стало то, что стихийная сила исторических изменений обеспечила власти колоссальное превосходство над довольно аморфными обществами, а государства, по терминологии Т.Майера, являлись образованиями "сопроводительного" ("светского") характера, основанными на территориальном и институциональном признаках. Протофеодальная славянская дружина, так же как и тип "светских" отношений в венгерском *jobbágy* (венгерское слово, в оригинале означавшее любого члена свиты, начиная от представителей высшей родовой знати и заканчивая замковой дружиной), предполагали, что властная структура должна состоять из концентрических кругов, расходящихся от центра власти, как это было в западных германских королевствах VI-VII вв. Такие же аналогии можно провести в социальной структуре: церковь и узкий слой потомственных аристократов отделялись от совершенно неоднородного крестьянства (включавшего значительное число холопов) неустойчивым, легко растворимым средним слоем,

значительная часть которого была связана с раннефеодальными учреждениями. Если римские церковные институты и основанные Каролингами государственные учреждения, с одной стороны, казались несколько более развитыми, то с другой это вполне уравнивалось тем фактом, что раннее Русское государство могло опираться на неизвестную на Западе вплоть до повторного завоевания Средиземноморья городскую базу в виде густонаселенных торговых центров - Киева и Новгорода, которые служили местом пересечения византийско-балтийской и арабской торговли на пути "из варяг в греки". На ранних этапах некоторые части региона были более тесно связаны друг с другом политически и династически, чем любая отдельно взятая его часть с Западом или с Византией. Во всяком случае, еще до рубежа XII и XIII столетий стало очевидным формирование местного "восточноевропейского" феодализма, культурно ориентированного в двух направлениях, но объединенного в единое целое общими структурными характеристиками.

В первые десятилетия после 1200 г. эта временная и неопределенная региональная общность быстро распалась. Ранне-Киевское государство представляло собой интересное образование, в котором таился намек на возможность оригинального симбиоза поздней античности и варварского мира, лежавшего между византийцами и находившимися на восточном полюсе Европы русскими, подобного симбиозу между римлянами и франками, возникшему на Западе в предшествующие столетия. Но вскоре эта возможность исчезла, поскольку вслед за поражением исчерпавшей свои силы в ходе западной экспансии Византийской империи (1204 г.) последовали монгольские вторжения (1223 и 1243 гг.),

сконцентрировавшие растущую силу евро-азиатского кочевого мира и отрезавшие русские территории от Черного моря. Киевская Русь распалась на ряд отдельных княжеств, в течение более чем двух веков подчинявшихся монголам. В результате аморфный восточноевропейский архетип феодализма этого региона стал более или менее косным. В то же время волна "внутренней экспансии" Запада начала со стихийной силой выплескиваться за границы прежней империи Каролингов, наполняя каркас "цивилизации" *Europa Occidens* ("Западной Европы") гораздо более объемным структурным содержанием в восточной зоне. Побочные эффекты агрессивного характера (*Drang nach Osten*) были характерны главным образом для северных областей от Эльбы до Балтики; в целом же распространение тяжелого плуга, новых систем обработки земли и урбанизация привели к продвижению "свобод" на Восток. Этот сдвиг был важным шагом в окончательном уничтожении раннефеодальной системы государства и общества. Данная волна развития сначала расколола, а затем по-новому объединила грубую ткань раннефеодального общества - образования, получившего в современных попытках типологизации название "государственное крепостничество".

Все, что И.Бибо считал западными "структурными характеристиками" средневековой Венгрии - объединения знати и независимый слой бюргеров, появившийся одновременно со "свободой церкви", последовавший отказ от рабства и гомогенизация крестьянства ("первое освобождение крестьянского населения"), в более восточных регионах провалившиеся, все это представляло собой реальные и значимые структурные элементы, сформировавшиеся в результате поистине взрывных, произошедших менее чем за полтора

столетия (1200-1350 гг.) перемен. Для определения скорости развития не может быть ничего более показательного, чем параллельные события на двух противоположных полюсах структуры. В 1270-е, параллельно с Западом, представители церкви и знати стали собираться на первые национальные "общие собрания", и началось осуществление идеи *communitas regni*. В это же десятилетие появились прецеденты заключения "контрактных" соглашений между землевладельцами и крестьянами, заверявшихся выполнявшими нотариальные функции церковными учреждениями. Все эти особенности совершенно определенно отделяют Карпатский бассейн (наряду с Чешским бассейном и Польской равниной) от "автохтонных" восточноевропейских структур, где церковь была подчинена власти князей, а архаическая "служилая" природа подчиненной князьям и боярам знати исключала любой корпоративный союз и формирование независимого слоя бюргеров (поскольку даже там, где присутствовали элементы автономии, как в Новгороде и Пскове, в совете преобладали бояре), а крестьянство представляло собой в высшей степени пеструю картину, складывавшуюся из всевозможных групп - от "свободных крестьян" на вновь осваиваемых землях до самых низов - бывших на положении рабов холопов, включая находившихся на различных промежуточных ступенях личной зависимости. В данной статье нет необходимости перечислять другие особенности, так как важнейшие из них уже были охарактеризованы Бибо. Но вопрос о том, достаточно ли ограничиться констатацией "большей простоты исторического материала и более провинциального, по сравнению с Западом, характера", остался открытым.

Переход от статуса западной окраины Восточной Европы в географическом смысле к статусу восточной окраины Западной Европы в структурном смысле принципиально отличался особым временным сжатием и темпами развития. Элементы социальной структуры, органически прошедшие на Западе за более чем 500 лет (IX-XIII вв.) несколько ступеней развития, включая отказ от некоторых предыдущих достижений и перегруппировку основных элементов на каждой ступени, сформировались в восточной зоне, включая Венгрию, в концентрированном виде в течение не более чем полутора веков, одновременно друг с другом. Неудивительно, что формы, которые принимали эти элементы, были в одних местах неорганически усеченными и "сырыми", в других - еще нечеткими, грубыми или смешанными, а в третьих - то там, то здесь демонстрировали архаические черты или различные степени отличия от своего прообраза. Даже если решающие преобразования нельзя рассматривать как прямую имитацию, Запад несомненно выступал в качестве "образца", модели, поскольку внутренние предпосылки для каждого направления этих преобразований существовали уже до 1200 г. Более того, это в основном объясняет темп преобразований. Но элемент "имитации" отрицать нельзя, так как уже готовые примеры и модели помогли ускорить внутреннюю последовательность событий. Другой особенностью средневековой "модернизации" региона была несравненно большая роль реорганизации "сверху" по сравнению с реорганизацией в собственно сферах развития структуры. Как показано выше, для западного типа феодализма было характерно спонтанное, снизу, возникновение основных элементов. Внутренние принципы организованного "общества" доминировали над

внутренними принципами "Государства"; новые монархии строились на основе уже существовавших элементов, а деятельность по их реформированию подразумевала перестановку, переоценку и реорганизацию этих элементов. Правитель-реформатор, деятельность которого концентрировалась на создании базовых элементов структуры (можно вспомнить о поселениях, о касающихся крепостных реформах, о политике в отношении городов, о введении организационных элементов вассальной зависимости, а также о рыцарской среде), был типично восточноевропейским феноменом, представленным, в частности, Белой IV, Карлом Робертом, Пршемыслом Оттокаром, Карлом IV, Владиславом Локетком и Казимиром III.

Особая двойственность восточной части *Europa Occidens* (Западной Европы) в эпоху средневековья была обусловлена тем, что истоки развития основных элементов структуры западного типа были недостаточно глубокими. Рассмотрим в качестве примера вассальную зависимость. После распада раннефеодальной системы институтов и простейшей "свито-подобной" структуры элементы вассальной зависимости и сословной системы появились одновременно, в то время как на Западе они являлись продуктами двух следовавших один за другим исторических этапов. Это помешало своего рода глубокой "культивации", с помощью которой отличавшаяся значительным расслоением структура вассальной зависимости подготавливала почву для дальнейшего развития. Например, в недоразвитой системе вассальной зависимости венгерского типа "*familiaritas*" отсутствовала имевшая глубокие корни институциональная система и постоянный характер, а также сам феодал как таковой. Когда венгерские историки с

их традиционно "этикетской" ориентацией торжествуют по поводу того, что в конечном итоге феодальные устои никогда не нарушали единство средневекового венгерского государства, они забывают о некоторых негативных явлениях. Одним из отсутствовавших фактором была, например, плодотворная культурная и правовая роль власти земельных собственников. Более того, слабость рыцарской среды обусловила в конечном счете то, что венгерский стал литературным языком примерно на 300 лет позже западных; рядом со сложившимися формами вассальной зависимости в венгерской истории оставалось мало места для органичной, автохтонной рыцарской культуры. Но ввиду отсутствия "глубокой культивации" непропорционально широкий слой знати появился очень рано и, быстро приобретя политическое самосознание и автономию, завоевал унаследованный региональный каркас раннефеодального государства - графства, одновременно заблокировав "пробивавшиеся" ростки местной законности, почвой для которых на Западе стала феодальная территория. Все это оказало глубокое влияние и на позиции тех или иных групп. Само слово "*familiaritas*" отсылает также к архаическим патриархальным отношениям определенного типа. Отсутствовали не только феодал как таковой и другие оформившиеся системы институтов и церемониал, но и "взаимодействие неравных", ярко выраженный договорный характер персональных обязательств. Тем не менее, низшее дворянство на службе у высшего не припадало к стопам своих господ, подобно восточному, и не разыгрывало символический спектакль человеческого достоинства в условиях подчинения, подобно западному. Его позиция осталась промежуточной. Вероятно, соглашение по поводу условий повиновения скреплялось

рукопожатием "на венгерский манер", как уже в XIII в. называли этот приветственный жест. Теоретически подобные отношения утверждали свое право на существование с помощью прославления "гуманности и чести", в то время как практически приоритетной для них была направленность "по нисходящей", а по характеру в них было гораздо больше от "службы", чем в вассальной зависимости на Западе. Это отразилось также в другом термине, который использовался для определения венгерского квази-вассала - "*serviens*". Это промежуточное положение между западной и восточной моделями представляется совершенно очевидным, несмотря даже на то, что оно было на несколько ступеней ближе к западной, чем к восточной.

Повсюду можно обнаружить структуры западного типа, хотя и до некоторой степени деформированные: либо неполные (как, например, города), либо непропорционально разросшиеся (как дворянство). Изначальная нехватка в Вегрии независимых городов западного типа была обусловлена не тем, что в городах с полной формулой (свободных королевских и горных) большая часть населения была этнически невенгерской, а тем, что эта сфера урбанизации оказалась ограниченной едва ли четырьмя дожинами городов, быстро выросших на волне интенсивного развития 1200-1350 гг., и осталась столь же узкой позже. Между тем массовая база урбанизации представляла собой образование смешанного типа, поскольку несколько сотен торговых городов-рыночных центров были западными по характеру, но демонстрировали большую степень крестьянских "свобод" по сравнению с бюргерскими. С другой стороны, неестественно быстрые темпы развития обусловили то, что низший слой землевладельцев, в конце XIII в. преждевременно

организовавшийся в "корпус" дворянства, не исключал путем естественного отбора чужеродные элементы, поднявшиеся из крестьянской среды с помощью своих привилегий, и оказался неподходящим для осуществления функций дворянства в силу своих "крестьяноподобных" черт. Таким образом, эпоха средневековья в Венгрии завещала новому времени большое число дворян, составлявших 4-5 % населения (в польском случае - 7-8 %) по сравнению с в среднем 1% на Западе. Эта цифра включала также грубую и необразованную мелкую знать, столь пропитанную беспредельной убежденностью в своих привилегиях, и столь оправданно названную Бибо "самым пагубным явлением в развитии современной Венгрии". Фактически единственным "западным" элементом, представленным в социальной структуре Венгрии в неискаженном виде, было вплоть до конца средневековья крестьянство, получившее в XIV в. единый правовой статус. Это нашло свое отражение в попытках крестьян избежать собственного вытеснения с периферии структуры западного типа, защищаясь с помощью осознания своего *universitas* ("единства") (1437 г.) или же статуса избранного, "благословенного народа" (1514 г.) в то время, когда они чувствовали серьезную угрозу полученным "свободам". Но судьбу подданных в длительном временном контексте решали те ответы, которые *corpus politicum* давал на последующие вызовы истории.

Социальное развитие Венгрии было опять-таки "западным" в том смысле, что в 1270-1290-е и особенно после 1400 г. оно содержало ясные идеи по поводу особого, независимого положения "политического общества" внутри государства, и в то же время -

отклоняющимся от статуса западного с точки зрения односторонности концепций. Например, в Англии Симону де Монфору никогда бы ни пришло в голову сделать что-либо иное, кроме как собрать по два представителя от каждого города, когда пробил час феодального "парламентаризма" (как в 1264 г.). Но когда этот час пробил в Венгрии (1276 г.), ни в одну голову не пришло пригласить представителей городского населения, как не произошло этого и впоследствии: депутаты от королевских городов участвовали в работе сеймов нерегулярно, главным образом как наблюдатели. Время от времени, исключительно в целях пропаганды, города также упоминались как "члены королевства" (*membra regni*), но это не имело особого значения, учитывая то, что с эпохи позднего средневековья статус депутатов от дворянства как представителей "всего тела королевства" (*totum corpus regni repraesentantes*) стал аксиомой. Именно поэтому в Венгрии утвердилась та до предела упрощенная и односторонне интерпретированная совокупность теоретических явлений, охарактеризованная выше, которая неизменно и даже теоретически исключала любую возможность иной интерпретации "*pars pro toto*". Поскольку политическая часть "общества" отождествлялась с дворянством, а оно, по формулировке Вербочана, олицетворяло через конкретные личности *populus*, находившийся в сфере действия конституционного законодательства, и составляло "члены священной короны", то ответственность правителя за общество, определяемое абстрактным понятием, идеологически исключалась. "Общество" как партнер правителя состояло исключительно из конкретного числа представителей знати.

Так какова же была исходная структура венгерской истории? "Настоящая история" едва ли может довольствоваться обобщениями или весьма пространными культурными характеристиками, обусловленными членством в *Europa Occidens*. В контексте региональной типологии одним из абсолютно второстепенных признаков является "высокая культура". Поэзия Яна Паннония не может компенсировать грубый местный колорит, который он сам считал таковым настолько, что называл его в гуманистической манере "варварским". Очевидно, что все "здание" венгерской истории может быть принципиально осмыслено через те же структуры, с помощью которых ее пытался определить Бибо. С другой стороны, с точки зрения основных элементов здесь можно найти обоснование для применения понятия "Восточно-Центральная Европа" ко всему региону даже в средние века, причем включение в это понятие определения "восточно-" означает, что практически во всем можно обнаружить отклонения от моделей и норм западного типа. Разумеется, небольшие отличия существовали - Чехия демонстрировала гораздо более "западные", а Хорватия - гораздо более архаичные формы, чем Венгрия, в то время как Польша по большинству параметров была с Венгрией очень схожа. В конечном итоге, более всего о структуре Венгрии на фоне Запада говорят следующие довольно трафаретные цифры: каждый двадцатый - двадцать пятый житель Венгрии в конце эпохи средневековья был представителем дворянства, в то время как во Франции - только каждый сотый; в то же время каждый сороковой - пятидесятый в Венгрии был свободным гражданином, в то время как во Франции - каждый десятый.

IV.

Более счастливые регионы Европы могут позволить себе датировать начало нового времени знаменательными событиями, как, например, 1492 - год открытия Америки. Менее удачливые ведут отсчет от дат катастроф, как, например, от 1526 - года битвы у Мохача и прихода Габсбургов. Русские историки также могли позволить себе открывать новую эру от дат удачных событий, таких, как "собрание русских земель" или любая из начальных дат аннексии Восточной Европы (1478, 1480, 1502, 1552 или 1556), если они не настаивали на интерпретации нового времени как внутренних "формационных" изменений вместо синхронной смены европейских эпох.

Подобные даты симптоматичны. Тем не менее, если в познании эпох и происходила какая-либо кардинальная перемена, то она безусловно заключалась в осознании того, что осмысление нового времени следует начинать с "первого кризиса" феодализма (1300-1450 гг.). С тех пор как европейские историки начали все более и более детально реконструировать и рассматривать его в контексте формирования "мировой экономики" раннего нового времени (происходившего в 1450 - 1640 гг.), появились определенные основания для предположения об взаимосвязи сложившихся в конечном итоге регионов Европы с типами реакции на проблемы-вызовы, поставленные кризисом. Поскольку теоретическая попытка синтеза Валлерштейна была предпринята недавно, никто не может обвинить Бибо в описании искажений в исторической структуре Венгрии как следствия некоторым катастрофических событий. Но было

неуместным начинать с великого крестьянского восстания 1514 г., поскольку эта катастрофа - следствие, а не причина; практически неоправданно также начинать с принятия Габсбургов, так как тем самым можно устроить себе ловушку, спровоцировав вопрос, которого потом было бы трудно избежать. Третья группа феноменов должна быть рассмотрена по-новому в свете дискуссий на международных конгрессах исторических наук в Риме и Стокгольме (1955 и 1965 гг.) и недавней марксистской интерпретации П.Андерсона, которую отличает свежесть подхода. Его суть - включение структурной характеристики государственной системы раннего нового времени, "эпохи абсолютизма". Общества различных исторических регионов в большинстве случаев уступали государству задачу реагирования на вызовы кризисов, в то время как государства в целом отражали региональные возможности. Это сделало государства наиболее активным фактором складывания регионов, что справедливо вплоть до настоящего времени.

Та самая средневековая модель, в которой были заданы социальные и государственные координаты западного типа, похожа на незаконченные соборы, остовы "готического титанизма" (Ле Гофф), веками стоявшие без башни, нефа или фасада на площадях Бове, Нарбонны, Кельна, Милана, Сиены и во многих других местах вплоть до начала их достройки в XIX в. Причина та же: *civilis societas* ("гражданское общество") и *corpus politicum* ("политическое тело") государства веками поднимались как остовы, обозначая лишь возможные контуры гигантской апсиды, так как после 1300 г. кризис всей структуры привел саму мастерскую на грань гибели.

Европа вышла из первого кризиса благодаря тому, что государство - в течение определенного периода времени или постоянно - опережало общество. Происходило это по-разному в различных регионах, от регионов и зависело - сформировалась ли новая "творческая мастерская", способная завершить гигантский острок средневековья, только в XIX в., и действительно ли события разворачивались так, как довольно выразительно описал Маркс в 1875 г.: "Свобода заключается в превращении Государства как органа, поставленного над обществом, в орган, полностью ему подчиненный, равно как и теперь - формы Государства более или менее свободны в той степени, в какой они ограничивают "свободу" Государства".

Кризис наступил в то время (на Западе - на рубеже XIII-XIV вв.), когда рост оказался ограниченным почти во всех направлениях рамками структуры. Вследствие этого "кризис роста" перешел в резкий спад (аграрный и денежный кризис, заброшенность деревень, значительное снижение численности населения, политическая анархия и т.п.), не набрав достаточно сил для радикального демонтажа структуры. Предпосылкой для преодоления кризиса служила экономическая экспансия, в то время как характер (или невозможность) такой экспансии определял, превратится ли феодализм, тем или иным образом продолжавший свое существование, в капитализм или будет воспроизводить себя. Сначала кризис затронул наиболее развитые и густонаселенные районы. На рубеже XIII-XIV вв. три четверти населения Европы жило на Западе, то есть на одной пятой ее территории. Позднее первые вспышки голода (1315-1318 гг.), обострявшегося вследствие сравнительной перенаселенности, стихийно обнаружили различные проявления

кризиса. Восточные регионы в течение длительного времени продолжали демонстрировать противоречивую тенденцию роста, а волна кризиса настигла их спустя приблизительно полтора столетия, когда Запад уже выходил из него.

В конечном итоге главным в "выздоровлении" Запада стал осуществившийся еще до 1300 г. однажды и навсегда перенос центра тяжести всей структуры в городскую экономику. Она была первой среди сил, способствовавших выходу из кризиса (который затронул все слои населения). Городской экономике удалось открыть Восточно-Центральную Европу как место, где можно было решать проблемы кризиса рынка и удовлетворять потребность в драгоценных металлах; в длительном выразительно описал Маркс в 1875 г.: "Свобода заключается в превращении Государства как органа, поставленного над обществом, в орган, полностью ему подчиненный, равно как и теперь - формы Государства более или менее свободны в той степени, в какой они ограничивают "свободу" Государства".

Кризис наступил в то время (на Западе - на рубеже XIII-XIV вв.), когда рост оказался ограниченным почти во всех направлениях рамками структуры. Вследствие этого "кризис роста" перешел в резкий спад (аграрный и денежный кризис, заброшенность деревень, значительное снижение численности населения, политическая анархия и т.п.), не набрав достаточно сил для радикального демонтажа структуры. Предпосылкой для преодоления кризиса служила экономическая экспансия, в то время как ее характер (или невозможность) определяли, превратится ли феодализм, тем или иным образом продолжавший свое существование, в капитализм, или будет воспроизводить сам себя. Сначала кризис затронул наиболее развитые

и густонаселенные районы. На рубеже XIII-XIV вв. три четверти населения Европы жило на Западе, то есть на одной пятой ее территории. Позднее первые вспышки голода (1315-1318 гг.), обострившегося вследствие сравнительной перенаселенности, со стихийной силой обнаружили различные проявления кризиса. Восточные регионы в течение длительного времени продолжали демонстрировать противоречивую тенденцию роста, а волна кризиса настигла их спустя приблизительно полтора столетия, когда Запад уже выходил из него.

В конечном итоге главным в "выздоровлении" Запада стал осуществившийся еще до 1300 г. однажды и навсегда перенос центра тяжести всей структуры в городскую экономику. Она была первой среди сил, способствовавших выходу из кризиса (который затронул все слои населения). Городской экономике удалось открыть Восточно-Центральную Европу как место, где можно было решать проблемы кризиса рынка и удовлетворять потребность в драгоценных металлах; в длительной перспективе за выход Запада из кризиса заплатили регионы за Эльбой. В то же время возрождение западных городов предупредило попытки или рефлексивное стремление дворянства спустить кризис вниз, под "политическое тело" (*corpus politicum*), на свое собственное крестьянство. Но вооруженная месть знати в ответ на крупные восстания XIV в. была бесполезна, поскольку более глубокий экономический рефлекс оказался сильнее; одним из важнейших достижений периода преодоления кризиса стала отмена на Западе к концу средневековья крепостничества. Принципами регулирования отношений крестьянина и землевладельца стали денежная рента и аренда земли. Фактически провалилась и другая

рефлективная попытка знати - довести борьбу за выход из кризиса до конца и компенсировать снижение своих доходов с помощью "рыцарского разбоя" и опустошительной анархии по типу военных действий во время Столетней войны и Войны Алой и Белой Розы, иными словами - с помощью разрушения государств. В конечном итоге в результате особой перегруппировки сил во время кризиса возникло *corpus politicum*. В конце эпохи средневековья монархии, опиравшиеся на города (и более или менее подчинившие церковь) оказались лицом к лицу с истощенным гражданскими войнами дворянством, исчерпавшим свои доходы, подорвавшим свои социальные позиции и рассчитывавшим, что государство как обеспечит его должностями и военными чинами, так и гарантирует его привилегии. В этих условиях Запад нашел в себе силы, необходимые и достаточные для экспансии в гораздо больших масштабах, чем в начале новой эры. Эта экспансия привела с помощью географических открытий и колонизации к созданию в раннее новое время фундамента "мировой экономики". Разумеется, между возникновением набиравших силу новых монархий - таких, как Франция Людовика XI (1461-1483 гг.) или Англия Генриха VII (1483-1509 гг.), - и появлением "абсолютизма" с его тройственной тенденцией сохранения всего того, что возможно сохранить от феодализма, подготовки к капитализму и формирования каркаса национальных государств пролегло еще одно переходное "долгое столетие".

Фактически реакция Восточно-Центральной Европы на кризис была органически связана с реакцией Запада, однако по своему типу она оказалась сходна с той, которую проявила Восточная

Европа. После плана "собираания русских земель" под эгидой Великого княжества Московского в XIV в., принятого и успешно осуществлявшегося Иваном III (1462-1505 гг.), это была вторая экспансионистская модель. Она представляла собой не что иное, как параллельный ответ "неполного" восточноевропейского феодализма на кризис позднего средневековья, имевший на Западе аналогичные признаки: заброшенные деревни, падение численности населения и политическую анархию; ситуацию существенно ухудшало татарское иго. Результатом стали не только три столетия русской экспансии (эквивалентной внутренней колонизации в Восточной Европе), но и то, что гигантский "придаток" Европы оказался прикрепленным к схеме, в определенном смысле составив пару западному, американскому "придатку" *Occidens*. В то время как конкистадоры расширяли сферу функционирования западной мировой экономики в "Индиях", казаки после первых экспедиций в Сибирь (1581-1584 гг.) наметили, продвинувшись до Камчатки, возможности развития иной "мировой экономики". Говорить о "русской мировой экономике" в раннее новое время можно в том смысле, что, помимо европейской, существовал ряд других мировых экономик (например, китайская), каждая со своим собственным центром, периферией и пограничными зонами. Сходство заключается не в относительном весе, а во внутренней структуре и определенном, хотя и крайне медленном подъеме русской экономики в решающих XVI-XVII вв. - то есть в период, когда спад обусловил деформацию регионов между Россией и Западом. Помимо очевидных контрастов, противостояние России Западу определялось двумя принципиальными различиями. Одно заключалось в приверженности Западу фрагментации. Как после

смерти Карла Великого стала очевидной невозможность сохранения имперских структур "цивилизации", так же вскоре после смерти Карла V стала ясна несовместимость попыток объединить "мировую экономику" с "империей" и модели, уже распространившейся через Атлантику в Америку. Напротив, восточноевропейская модель, через Азию достигшая Тихого океана, основывалась на объединении этих трех категорий: "экономика" в данной модели отождествлялась с "имперским" каркасом, опиравшимся на "цивилизационной" концепции Третьего Рима (Москвы), пока в XVIII-XIX вв. она не превратилась в периферию европейской мировой экономики. Другое отличие состояло в опоре западной модели на отмене крепостничества, в то время как восточная базировалась на его сохранении. Решающим элементом русской экспансии была сельскохозяйственная колонизация крупных территорий, обеспечивавшая практически неограниченное пространство для передвижения крестьян. Русское дворянство "загонялось" в подчинение государственной власти с еще более подавляющей силой, чем западное, хотя последнее и испытывало кризис, угрожавший его существованию. Это было связано с участием дворянства в территориальной экспансии и с крутым и эффективным пресечением со стороны государства крестьянской мобильности. Даты законодательного закрепления первого радикального ограничения, а затем полной отмены свободы крестьянских передвижений и прочих, незначительных свобод (1497 и 1649 гг.) были столь же четкими вехами в развитии русского абсолютизма, как уже упоминавшиеся даты территориальных приобретений (1480 и 1679 гг.).

Между двумя названными расширяющимися регионами лежала Восточно-Центральная Европа. Причина ее оборонительной позиции крылась не только в нехватке пространства для оперативного решения проблемы и даже не в военном наступлении Османской империи. Восточно-Центральная Европа была в слишком большой степени частью западной "мировой экономики", хотя с эпохи средневековья - периферийной ее частью, со слабой инфраструктурой и экономическим базисом. После временного стимулирующего эффекта выхода западной городской экономики из кризиса (развитие экспортных отраслей промышленности, экспорт капитала) судьбу крестьянства решили такие факторы, как слабость и все большая стагнация восточной городской экономики. Наряду с этим наблюдался рост потребности урбанизирующегося Запада в сельскохозяйственной продукции, что обусловило превращение крупных земельных владений, возделывавшихся подневольным трудом, в типично восточную модель в складывавшемся между Востоком и Западом разделении труда. В результате дворянству восточноевропейского региона удалось сделать после 1500 г. то, что не сумело западное после 1300 г. в силу "парализации" рефлексов последнего: переложить бремя кризиса на плечи крестьянства. Несомненные законодательные признаки становления "второго издания крепостничества" появились с поразительной синхронностью в Бранденбурге (1494 г.), Польше (1496 г.), Чехии (1497 г.), Венгрии (1492 и 1498 г.г.) и на Руси (1497 г.), хотя контекст и причины их появления были различными. Широкие массы русского крестьянства никогда не получали освобождения в западном смысле от "первого издания крепостничества"; русская экономика также не зависела от

Запада. После 1500 г. сформировалось два общих знаменателя, способствовавших стиранию ставшей после 1200 г. более определенной восточную границу *Europa Occidens* при все большем укреплении линии Эльба-Лита (после 1200 г. начинавшую постепенно стираться). Одним из этих знаменателей стало наличие также и у знати этого региона веских причин для одобрения власти сильного государства как способного наиболее эффективно применять прикрепляющие крестьян к земле законы, без которых эти крестьяне могли бежать или поднимать восстания, законно ссылаясь на свои "древние свободы". Вторым общим знаменателем являлось присутствие в обоих регионах евразийских "клиньев". Более того, Оттоманская империя на вершине своего могущества и упорного продвижения вперед к территориям Савы и Дуная представляла собой гораздо более сильного противника, чем слабеющая Золотая Орда в регионе Днепр-Дон-Волга. Турецкое завоевание являлось для Польши, так же как для Венгрии и Хорватии, серьезной проблемой, поскольку угрожало восточным территориям Польши на Украине. Но, несмотря на общие знаменатели, наблюдалось одно существенное отличие. Дворянство этого региона, в отличие от русского, имело ясную и определенную (хотя и одностороннюю), опирающуюся на соответствующую систему учреждений точку зрения на то, что оно "представляет страну" и "свободу страны" в государственном *corpus politicum*. Чем больше кризис увеличивал власть дворянства над крестьянами и поражал города, тем более односторонними становились идеи дворянства. Отсюда легко понять, почему на закате средневековья знать в этом оборонительном регионе в гораздо большей степени, чем в обоих расширяющихся регионах, колебалась:

действовать ли в соответствии с собственными фундаментальными интересами или же настаивать на своих "свободах". Как явствует из неприятия попыток монархов Чехии, Венгрии и Польши (1471, 1490 и 1492 гг. соответственно) утвердиться на параллельных западным путях развития, дворянство сначала склонялось к последнему варианту поведения. Позднее основной характерной чертой региона стало присутствие всех возможных вариантов.

Такова была суть ситуации, сложившейся в Европе на рубеже XV-XVI вв. Что же касается ее результата, "эпохи абсолютизма", следует отметить еще одно важное обстоятельство: суперструктура государственной системы раннего нового времени не только подтолкнула Европу, различные регионы на разной основе, к определенной конвергенции - эта новорожденная государственная система со своего рода имманентной силой стремилась к равновесию. Так как государство начало не только доминировать над "обществом", но и регулировать экономику, а в XVII в. пережило "военную революцию", являющуюся своеобразным средством этого регулирования (только семь лет того столетия прошли без какого-либо крупного международного конфликта), экономический потенциал снижался по мере продвижения на Восток и параллельно с увеличением государственного аппарата. В конечном итоге равновесие в области вооружений усиливало экономическое неравенство. Действительно, около 1780 г. армии Романовых и Фридриха II насчитывали приблизительно 200.000 человек, столько же, сколько, скажем, французская армия в *grand siecle*, конечно, обременяя казну и, что еще более важно, национальный доход в совсем иных масштабах. Такая численность могла быть достигнута и

сохранена только путем государственного контроля над экономикой и обществом, осуществлявшегося "сверху" и тем более прямо и решительно чем восточнее находилась страна. "Соревновательный" дух, пронизывавший Европу, проявлялся по мере движения на восток все более судорожно. Эта судорожность нарастала в то время, когда западные общества наполнялись энергией (несмотря на попытки государственного контроля) вплоть до Французской революции. Ослабление этого спазма было целью особой трактовки "просвещенного абсолютизма" и идеи "революции сверху"; последняя носилась в воздухе задолго до того, как Штейн, Гнейзенау, Гарденберг и другие открыто сформулировавших ее в Пруссии после 1806 г. Эта трактовка представляла собой исторический феномен, границы которого опять совпали с границами старой империи Каролингов.

*

Абсолютное государство на Западе "было компенсацией за исчезновение рабства", в то время как на Востоке "оно служило средством укрепления крепостничества" (П.Андерсон). Несмотря на показательные настроения консолидации и "сближения", которые, наряду с отношениями соперничества, демонстрировали правящие круги Европы в XVIII в., различия региональных структур означали, что в отношениях государства и общества можно было выделить три разные схемы. Базой для двух крайних, в равной мере сложившихся моделей стали два расширяющихся региона, а множество моделей-вариаций в расположенной между ними и обозначенной

проницаемыми, размытыми границам зоне, отражало отчаянные усилия Восточно-Центральной Европы.

Сегодня трудно найти человека, считающего, что различие между западным и восточным абсолютизмом в Европе заключалось в том, что первый поддерживал своеобразный баланс между дворянством и буржуазией, в то время как последний представлял собой законченную "феодальную" структуру. Обе модели были феодальными. Принципиальное различие между ними состояло в том, что западный абсолютизм защищал те элементы феодализма, которые можно было сохранить от разрушительного воздействия капитализма, но так, что фактически способствовал их разрушению в своих собственных целях; в то время как в восточном абсолютизме такого "противоречия" не наблюдалось, поскольку там почти (или совершенно) не действовали разрушительные силы. В любом случае, помимо защиты наиболее устойчивых элементов феодализма, налицо были иные цели и функции. Все абсолютистские государства были тесно связаны функционально с местным, региональным вариантом "мировой экономики", так как они одновременно представляли собой и важнейшие сферы потребления ее доходов, и значительные факторы ее развития. На этой основе государства выполняли свою непосредственную задачу подчинения общества и ту перспективную функцию "реорганизации" (или осуществления ранней "модернизации") общества с целью его подготовки к новому времени, которая в конечном итоге заложила основы последнего. Соответствующими были и средства. Развитие бюрократии и армии, централизация государственного управления (т.е. гомогенизация "субъектов"), протекционизм в экономике или, к примеру, новый тип

легитимации власти, - все это общие признаки как западного, так и восточного абсолютизма.

Тем не менее, несмотря на сходство признаков, все структурные элементы моделей двух "внешних" регионов продемонстрировали резкие контрасты, обусловленные глубокими различиями в средневековой инфраструктуре отношений государства и общества, а также в новой экономической базе.

Эти резкие различия проявились в ритме развития и временных показателях в целом. На Западе феодальные элементы средневекового *corpus politicum* прекращали борьбу постепенно и неохотно, путем повторявшихся время от времени восстаний против правителей с их все возрастающей (но тогда еще не абсолютной) властью, так что государство оказалось способным овладеть ситуацией только в XVII в. Во Франции наиболее ярким *terminus post quem* в развитии абсолютизма стало собрание Генеральных штатов в 1614-1615 гг.; только после этого такие творцы абсолютизма, как Сюлли, Ришелье или Кольбер, получили простор для действий на основе планов Бодена, которые в действительности остались на бумаге. Более того, наиболее развитые регионы либо рано "выпрыгнули" из системы (как Нидерланды), либо жили с "неполным" абсолютизмом, продержавшимся менее полувека (Англия). На Западе сама структура пережила XVIII век только в тех регионах (Испания, Португалия и Южная Италия), где перенос центра мировой экономики в район Атлантики и последовавшая внутренняя региональная реорганизация Запада в раннее новое время создали "полупериферию" с точки зрения экономических и социальных конструкций. Более того, случилось так (хотя и в виде исключения),

что средневековое *corpus politicum*, переживавшее внутренние перемены, эволюционировало не без конфликтов, но в особом диалектическом единстве революции и органичной преемственности в основу современного парламентаризма через Долгий Парламент английской революции. В Англии Стюарты представляли собой определенное препятствие для органичного изменения средневекового *civilis societas* в современное, в то время как в других регионах абсолютизм способствовал этому процессу. По меньшей мере на Западе, где абсолютизм остался определяющим, хотя и эпизодическим историческим феноменом, он был одним из результатов тех плодотворных "накапливавшихся" изменений, которые подготовили дальнейшие структурные перемены. Напротив, на Востоке русский абсолютизм представлял собой структуру, которая сама по себе служила в течение многих веков каркасом для накопления любых изменений. Он "одним рывком", хотя и несколько грубо, создал в эпоху от Ивана III до Ивана IV (1462-1584 гг.) все базовые элементы; он предвосхитил дальнейшее развитие, продемонстрировав такое образование, как опричнина Ивана Грозного, - "государство в государстве", террористическую организацию, державшую под наблюдением всю оппозицию, уничтожавшую непокорных бояр и конфисковывавшую их земли. Вплоть до 1905 года единственным значительным потрясением основ русского абсолютизма за четыре столетия стало Смутное время (1606-1613 гг.), а после 1613 года Романовым удалось консолидировать структуру до такой степени, что граф Строганов в своей докладной записке Александру I смог обобщить это следующим образом: "Источником всех неприятностей во всей нашей истории было крестьянство, в то время как дворянство

никогда не возмущало спокойствия. Если и есть сила, которой правительству следует опасаться, и группа, за которой нужно следить, то это крепостные, а не какой-либо иной класс." Слабое и недолго просуществовавшее собрание сословий (Земский собор) было создано сверху указом Ивана IV, продиктованным манипулятивными, тактическими целями - привлечь на свою сторону знать западных и украинских территорий, находившихся под властью Польши и Литвы. После того как Земский собор кодифицировал вечное прикрепление крепостных к земле (1649 г.) и, таким образом, выполнил свою задачу, он был предан забвению. Подобное недвусмысленное соглашение заключалось еще раз лишь однажды, несколько лет спустя, в 1653 г., в Пруссии. В обоих случаях дворянство теоретически отказалось от своей роли в государственной структуре в обмен на государственную же гарантию барщины и лишение крепостных гражданских прав. Таким образом, русская история нового времени была отмечена (в подтверждение тому, что сказал Строганов) крестьянскими восстаниями типа выступлений под предводительством Болотникова, Разина и Пугачева, которые периодически стихийно опустошали обширные территории России. Одной из моделей развития абсолютизма была интеграционная, преобразовавшая Запад; другой - та устойчивая форма существования, которая объединила всю Восточную Европу.

Как уже упоминалось, общим инструментом абсолютизма и на Западе, и на Востоке была такая организация бюрократии, которая обеспечивала нормальное функционирование последней, а также армии, что приводило к увеличению численности чиновников. Но Восток и Запад ориентировались на две различные модели, хотя обе

опирались на дворянство. Западное государство отличалось дифференцированным подходом: оно наделяло часть дворянства должностями и военными функциями, нейтрализуя другую и оставляя ее прозябать в неизвестности в обмен на гарантии привилегий. На Западе типичной формой "бюрократизации" дворянства была продажа должностей (фр. "paulette"), с помощью которой государство убивало по меньшей мере трех зайцев: повышало доходы, парализовывало систему "клиентелы" крупных магнатов и путем покупки части старой аристократии и превращения ее в профессиональное чиновничество открывало возможности для проникновения в государственный аппарат буржуазии (*noblesse de robe*). Благодаря покупке должностей бюрократия стала средой капиталистического инвестирования и двигателем социальной мобильности, а практика сдачи в аренду налогов и других фискальных операций сделала развивающуюся буржуазию частью "штата государственных кадров". В аристократически изысканной атмосфере феодального государства структура осваивала капиталистические принципы функционирования - как, например, армия, реорганизация которой также стала деловым "предприятием". Тем не менее, дворянство осталось корпорацией, находившейся вне государственной сферы. С другой стороны, на Востоке абсолютизм сделал первый шаг в этом направлении после 1478 г., когда Иван III создал "служилую знать" (помещиков), зависевшую исключительно от воли царя и принципиально заинтересованную как в территориальной экспансии, так и в конфискациях. Следующей ступенью стало возвышение этой новой знати над старой - владельцами свободных имений (вотчин). Свою завершённую форму

абсолютизм приобрел, когда Петр Великий свел воедино оба типа землевладельцев, распространив на всех обязанность службы и таким образом создав однородное служилое дворянство, объединенное в бюрократию и армию по 14 рангам. Это было воспроизведением "архаичных" отношений службы, сохранившихся (с незначительными последующими усовершенствованиями) в "модернизированной" абсолютистской структуре даже при Николае I (1831г.) вплоть до великой революции. Представитель дворянства являлся *eo ipso* либо гражданским служащим, либо армейским офицером, что вызывало взаимопроникновение социальных рангов и различных ступеней бюрократической иерархии. Запад, распределив всю власть по партиям со своими определенными интересами, избирательно включал ее (и буржуазные элементы) в "государство", в то время как Восток осуществил своего рода "национализацию" всей власти.

Запад подчинил общество государству, Восток "национализировал" его. Абсолютизм повсюду стремился унифицировать своих "субъектов", и между взглядами, например, Людовика XIV (*mes peuples*) и царей по поводу неделимой общности не было принципиальной разницы. Но на практике повсюду на Западе сохранялись различные местные автономии и "свободы", самое большее - их урезали и ставили под контроль государства. Корпоративный партикуляризм и провинциальное многообразие были гораздо более пестрыми при любом *ancien régime*, чем при жестко фиксированной структуре государства нового времени. Периодически там должны были происходить объединенные выступления дворянства, буржуазии и крестьянства с требованием восстановления различных "свобод" каждого из участников, как,

например, во Франции в период религиозных войн и Фронды (1648-1653 гг.). Между этими "движениями за свободу" средневекового типа и Французской революцией прошло почти 150 лет (отмеченных главным образом локальными крестьянскими выступлениями против налогового бремени), но причиной этого временного разрыва послужило не усиление абсолютизма, а то, что кампании, имевшие место раньше, стали анахронизмом. Новая буржуазия, поддерживаемая меркантилизмом, более не нуждалась ни в каких особых "автономиях". Централизация была недостаточно сильной для того, чтобы окончательно унифицировать подданных, но вполне действенной для того, чтобы инициировать внутреннее сближение становившихся все более относительными традиционных "свобод": их внутреннее содержание оказывалось все более однородным пропорционально усилению новой буржуазии. Как удачно подметил И.Бибо, государство раннего нового времени скорее осуществляло совместное управление, чем "уничтожало" пестрый мир традиционно существовавших организаций. Первая акция русского абсолютизма была предпринята в духе объединения русских земель, когда Иван III занял Новгород (1478 г.), который пользовался исключительной независимостью в управлении, удалил оттуда весь высший слой, бояр и купцов, конфисковал их собственность и назначил в городе-государстве своего губернатора. Так была повторена модель, существовавшая в Москве - центре административной и военной власти, где проживало значительное число бояр, гражданских служащих, солдат, купцов, ремесленников и крестьян, и где каждая группа в отдельности (как это было характерно для всех городов в русских землях) зависела от центральной власти, причем даже

привилегированные богатые купцы (гости) были главным образом деловыми агентами царя. В последующие столетия все города на осваиваемых землях, от Царицына до Архангельска, а затем до Уфы и дальше на Восток, заимствовали эту модель. Исчезающие остатки местного самоуправления бояр (институт "губы") были ликвидированы первыми Романовыми, передавшими все территории в ведение центрального государственного аппарата путем объединения их в провинции. Одним из противоречий западного абсолютизма было то, что его "субъекты" рано или поздно начинали превращать свои *libertates* ("свободы") в единую *liberté* в рамках основной тенденции развития, определявшейся государством; действия же царского абсолютизма устранили это противоречие, так что последовательно реализовывалась концепция "общества" как единства всех субъектов.

Повсюду абсолютное государство волей-неволей становилось крупнейшим экономическим "предпринимателем" своего времени. В то время как типичной формой западного меркантилизма была капиталистическая компания, организованная под покровительством государства, логика русского меркантилизма привела к расширению традиционной монополии царя, которая при Петре Великом и его преемниках обеспечивала государству доминирующее положение во всех ключевых отраслях промышленности, особенно военной (железо на Урале и кораблестроение), и внешней торговле. В то время как во Франции, например, рост промышленного капитала составлял около 60% (позволяя буржуазии действовать в качестве катализатора уже упоминавшегося процесса, в результате которого произошла унификация свобод) даже в столетие, когда *ancien régime* уже отказался

от политики меркантилизма, экономический рост в России с начала и неизменно поддерживал само государство. В сравнительном контексте методы, с помощью которых Россия накануне краха царизма опередила Францию, вытеснив ее с четвертого места среди крупнейших производителей стали и с пятого - по объему всей промышленной продукции в мире, были действительно эффективными.

Само понятие "абсолютизм" является неточным в двух смыслах. С одной стороны, оно говорит слишком много, с другой - слишком мало. Ни в теории, ни на практике власть любого из западных монархов не была неограниченной или же свободной от любых законов (*legibus solutus*), т.е. "абсолютной" в истинном смысле. Такие теоретики абсолютизма, как Гроций, Боден или Гоббс, были далеки от отношения к обществу как реально существующему, а не чисто теоретическому феномену. Фактически они интерпретировали и развивали идеи, накопленные в эпоху расцвета средневековья (от естественного права через общественный договор к римскому праву), таким образом, чтобы создать из них обновленную версию средневекового принципа божественной благодати и позднеантичной "окончательной" передачи власти. Но абсолютная власть суверена, стоявшего над законодательной, принимавшего множество решений, в том числе по налогообложению, была не теоретически "неограниченной", а "не контролируемой" на практике - а это очень существенная разница. Таким образом, с одной стороны, "народ" не контролировал монарха *pars pro toto* (через своих представителей), поскольку в "договоре" первый переносил естественные права, в принципе принадлежавшие ему, на суверена, но с другой - большое

значение с точки зрения теории имело то, что суверену, как писал Боден, "нельзя было налагать какие-либо ограничения на естественное право" или предпринимать что-либо "без справедливого или разумного обоснования". Ни одно качество, которое могло оказаться полезным с точки зрения общества, не было забыто, каждое в теории подчинялось структуре (так же, как остатки "политического тела" на практике были обречены на пассивность), а границы власти суверена переносились в сферу морали (практической гарантией которой было существование этих остатков). Как только созрели условия, все теоретические элементы смогли в результате одного-единственного общественного движения "выбраться из-под" власти суверена и сгруппироваться вокруг идеи народного суверенитета. Почти символично, что Монтескье (являвшемуся в течение определенного времени президентом парламента Бордо) суждено было оказаться одновременно и первопроходцем "современной" теории государства, и представителем аристократической оппозиции абсолютизму. Легитимизация русского абсолютизма проходила по совершенно иному сценарию. Около 1480 г. монахи именем Ивана III начали разыскивать в старых манускриптах элементы византийского автократически-мистического понимания государства, выстраивая его интерпретацию вокруг миссии "царя всех русских" как наместника Бога на Земле, сопровождая это отождествлением Москвы с "Третьим Римом" и определяя поддержку этих идей как задачу подданных. Поскольку крупные бояре не являлись носителями институциональных или теоретических традиций автономии общества, в то же время *de facto* участвуя, хотя и менее явно, в осуществлении власти, единственная фактически сохранившаяся

идеологическая оппозиция заключалась в постоянно существовавших движениях за обновление православной церкви, склонных к глубокому мистицизму. Но их позиция была безнадежной с самого начала, так как церковь подчинялась государству по византийскому образцу. Этот гордиев узел был разрушен Петром Великим, создавшим Святейший синод, который окончательно подчинил православную церковь государству. Даже теоретически ни одному слою не было оставлено никакой возможности для самостоятельных действий государственной идеологией, которая была основана на неразрывной триаде самодержавия, православия и русского народа, а затем сконцентрировала эту триаду в одном фокусе - личной власти царя - и оттуда распространявшей ее наряду с "истинной" верой через сферу влияния "истинной" власти к "истинному" единству народа. Легитимизация западного абсолютизма заключалась в провозглашении "легитимности" власти, восточного же в декларации мистической "истины" власти и принудительном заключении оппозиции в те же концептуальные рамки. На Западе оппоненты абсолютизма постоянно обращались к праву на свободу и постепенно упрощали лозунг (настолько, что в десятилетие перед Французской революцией понятия "свобода" и "представительство" в политическом языке консервативной и радикальной оппозиции соответствовали друг другу); на Востоке оппозиция, как и было ей задано властью, вращалась вокруг одной непреложной и всеобщей "правды", причем оппозиционерам не удалось от этого освободиться даже в новое время.

Именно благодаря этой особенности развития сохранилось различие между западной и восточной моделью. Более того, оно в

определенном смысле углублялось в рамках утвердившейся к XVIII в. тенденции к "конвергенции". Поворотный пункт был обозначен, с одной стороны, окончанием войны за испанское наследство (1701-1715 гг.), а с другой - реформами Петра Великого (1689-1725 гг.). Война ("первая мировая война в новое время") сформировала отношения "соперничества", что придало государству раннего нового времени на самом Западе новое измерение, поскольку Англия и Голландия, которые были исключены их революциями из системы абсолютизма, оказались фактическими победителями, в то время как сильнейшая из абсолютных монархий - Франция - фактически проигравшей. Результатом этого стало "окостенение" французского абсолютизма, превратившее отношения соперничества внутри самого государства в противостояние ретроградной государственной структуры и высвобождающихся сил в масштабе всего общества. Просвещение на Западе было делом "общества", а не "государства". Позднее парабола западного абсолютизма получила свое завершение во Французской революции, после которой государство, которое добилося преобладания над незрелым и охваченным кризисом средневековым *societas civilis* на основе экспансионистской "мировой экономики", помогло обществу выйти из кризиса как "подчиненному", с тем, чтобы в конечном итоге вышестоящее *société civile* обрело превосходство над погруженным в кризис государством.

Парабола восточного абсолютизма выглядит совершенно иначе. Чтобы сохранить почву под ногами в соперничестве с Западом, Российская империя была вынуждена "прорубить окно" в Европу, отказаться от своей особой "мировой экономики" и стать частью экономики европейской, в то же время сделав просвещение делом госу-

дарства, "цивилизуя" подданных таким образом, чтобы они по своему социальному статусу оставались по-прежнему "подданными" (а не "гражданами"). Этот процесс модернизации был весьма искусно начат Петром Великим. Его реформы (и их продолжение, особенно во время правления Екатерины Великой) не следует по традиции рассматривать как европеизацию России, а скорее как последовательную "восточной европеизации", которая осуществлялась во всех возможных направлениях. Именно Петр Великий сказал: "Сейчас мы на несколько десятилетий нуждаемся в Европе, так что мы можем повернуться к ней спиной позже". Все это показывает, как ограниченные способности структуры (и в то же время - "национализированного" европейского региона) к движению раскрывались по воле "сверху" в условиях сильнейшей социальной и политической инерции. Результатом же стало то, что русская нация сформировалась внутри российской "имперской" структуры, так же как на Западе рамки формирования наций были заданы абсолютизмом. Но этим сходством крылось и различие. В западной модели национальное общество как теоретический носитель суверенитета освободилось от этих рамок, так что впоследствии оно могло на практике контролировать государство; в восточной же русская нация как в теории, так и на практике осталась социальной структурой, подчиненной "свободе государства" (Маркс).

Как мы уже видели, регион между этими двумя моделями переступил порог нового времени в недавно сложившихся

"восточноевропейских" условиях, но с неполными "западо-подобными" структурами. Именно в силу этой двойственности в раннее новое время в регионе появилось несколько разных моделей вместо одной унифицированной, словно проводились эксперименты со всевозможными перестановками и комбинациями.

В северной части региона были испробованы два крайних варианта. Этим землям в силу их географического положения суждено было первыми через балтийскую торговлю вступить в промышленное и сельскохозяйственное разделение труда в развивающейся мировой экономике Европы и сделать это наиболее полно. Таким образом, этот ареал первым и наиболее последовательно осуществил "второе издание крепостничества". Во время великого подъема (1550-1620 гг.) зерно, производимое в немецких *Gutswirtschaft* (имениях, ориентированных на продажу сельскохозяйственной продукции) и польских крупных поместьях, основанных на принудительном труде, во все возрастающих количествах и главным образом водным путем (по Эльбе) доставлялось в Брюгге и Амстердам из портов Штеттина, Гданьска и Кенигсберга. Доходы от этого получало дворянство одного очень крупного и одного очень маленького государства. Королевство Польши и Литвы было крупнейшим в Европе XVI в. государственным образованием, расположенным на территориях от Балтийского до Черного моря и от Силезии до Смоленской и Киевской областей, в то время как курфюршество Бранденбург представляло собой в начале нового времени одно из самых маленьких государств в регионе и одну из наименее урбанизированных территорий Священной Римской империи с определявшейся главным образом *Herrenstand* (дворянства) и

Ritterstand (рыцарства) феодальной структурой. Это государство приобрело определенное политическое значение только после того, как династия Гогенцоллернов получила второй оплот своей будущей власти - наследие тевтонских рыцарей, Восточную Пруссию (1618 г.).

Именно в силу процветания Балтики и исключительной весомости в Восточной Европе крупнейшее в регионе, избранное "политическое общество" польского дворянства вступило на экстремальный путь: доведя *ad absurdum* свое однозначно "западное" положение, унаследованное от средневековья, оно установило своего рода аристократическую республику, совершенно не имевшую прецедентов в Европе. Полагаясь на исконную силу *Rzeczpospolita Polska* (Речи Посполитой), которая реорганизовала польско-литовскую унию в союз, основанный на политическом праве (1569 г.), полностью отвергая династический принцип и подчиняя выборного правителя сословному собранию - Сейму (*Sejm*), из которого были исключены города (1573 г.), польское дворянство пыталось вести себя так, словно жило в расширяющемся регионе. Фактически так и оно было, поскольку включение обширных территорий Белоруссии и Украины за Вольнией и Подоліей сделало это государство частично ответственным за начало "внутренней колонизации" Восточной Европы вплоть до Приднестровья. Пока что шляхта оставалась в регионе доминирующим политическим фактором до последней трети XVII в. В области культуры эта ситуация подготовила почву для деятельности Коперника и известного как "золотой век Польши" польского Ренессанса с центром в Кракове. Словно специально предназначенная для демонстрации противоречия между восточной и западной моделями, эта

аристократическая республика проводила странную политику "антимеркантилизма", что в принципе исключило польских купцов из осуществлявшейся польскими землевладельцами торговли зерном, и отдало все дело в руки иностранных (главным образом голландских) торговцев (1565 г.). Попытка создать аристократическое общество "западного типа", поставив государство на своего рода "антиабсолютнистскую" основу, по всем направлениям зашла в безнадежный тупик. К концу XVII в. общий экономический упадок разрушил также маноральную экономику, городская база была уничтожена, а экстремальная степень аристократической свободы в рамках феодального парламентаризма (*liberum veto*), по рукам и ногам связывавшая правителя и парализовавшая государство, поставила само это аристократическое государство вне "военной революции" того времени. При отсутствии хорошо подготовленной пехоты, артиллерии и постоянной армии какого бы то ни было типа, безнадежно устаревшая аристократическая кавалерия неизменно терпела следовавшие одно за другим поражения от шведской, прусской и русской армий. В результате движения православного крестьянства под предводительством казаков, которое можно рассматривать как своеобразный реванш, под знаменами Хмельницкого произошло присоединение Украины к России (1648 и 1654 гг.). К чему это привело в свою очередь, хорошо известно: после серии разделов (в 1772, 1793 и 1795 гг.). Польша исчезла с карты. Ее место заняли три абсолютнистских государства-соседа - Пруссия и Россия, становившиеся в то время фактором европейского значения, а также государство Габсбургов. Символично, что над могилой Польши стояли три крупнейшие фигуры "просвещенного

абсолютизма" - Фридрих II, Екатерина Великая и Иосиф II. Так абсурдная и затянувшаяся попытка аристократии Восточно-Центральной Европы сохранить средневековую "западную" структуру в ситуации, когда "восточноевропейские" условия становились все более и более определяющими, закончилась полным крахом.

Самое маленькое государственное образование региона, княжество и курфюршество Бранденбург, развивалось по принципиально отличному пути, поскольку Гогенцоллерны и юнкерство восприняли "восточноевропейский" поворот истории абсолютно иначе (хотя и не без первоначальных трений). Ликвидировав унаследованную ими деформированную "западную" ситуацию, они утвердили вместо нее такую модель абсолютизма, которая по своей военной и бюрократической структуре приближалась к восточной много больше, чем модели других европейских абсолютистских государств, хотя на практике она реализовывалась с тщательностью, характерной для Запада. Благодаря методичной экспансии на север, восток (в Померанию) и запад (в Магдебург, Альтмарк и т.п.), благодаря регулярному обновлению феодального механизма, последовательному сплочению дворянства в бюрократический аппарат и армейскую элиту (что превращало юнкеров в образцовый западный вариант "служилой знати" на Востоке) и эффективному использованию меркантилизма, Бранденбург-Пруссия приобрел во время правления великого курфюрста Фридриха I (1640-1680 гг.) общеевропейское значение. Его преемник и тезка превратил страну в королевство и военную державу (1713-1730 гг.), после чего Фридрих Великий присоединил Силезию и

поднял Прусское королевство на уровень образцового абсолютистского государства, игравшего ведущую политическую роль и оказавшегося достаточно гибким для того, чтобы воплотить на практике (в 1806 г. под властью Наполеона) идеи "революции сверху". Такова была предпосылка для того, чтобы данная модель как вариант развития Восточно-Центральной Европы (диаметральная противоположность которой - Польша - исчезла с карты Европы, причем западная часть Польши стала Пруссией) использовала единственную реальную возможность успешного объединения Германии, которая до того времени существовала на карте только как конгломерат нескольких сотен территорий, разбросанных в трех крупных исторических регионах Европы. Конечно, в сравнении с успехами двух регионов по обе стороны от рассматриваемого данное достижение было сомнительным. Как удачно отметил Бибо, страны региона постоянно становились объектами многочисленных жестоких шуток их деформированной истории, сыгранных с ними в том или ином месте, в то или иное время и тем или иным образом. В конечном счете, фашизм и его последствия стали той ценой, которую Германии пришлось заплатить за успешное объединение "сверху" под маркой "восточной" инициативы и с помощью внутренних отклонений от и препятствий для демократии. Этот вывод проходит через всю работу Бибо "*Német hisztéria*" ("Немецкая истерия", 1942 г.).

"Гибридный вариант", который этот промежуточный регион предложил наряду с крайностями, был создан *domus Austriae* (австрийским правящим домом). Ироничное отношение австрийцев к себе может стать объяснением того факта, что дому Габсбургов удалось пости на четыре века сплотить всю южную часть Восточно-

Центральной Европы в единый имперский конгломерат с помощью лозунга "*Tu felix Austria nube*", способности проводить успешную политику династических браков. В длительном временном контексте ироничное отношение чехов к себе смогло справиться с последствиями в стиле Швейка. Но, быть может, венгры менее способны смеяться над собой потому, что для этого им пришлось бы разрешить противоречие, суть которого в сочетании действительных страданий венгерского общества в этих исторических обстоятельствах с существенным вкладом венгерского правящего слоя в его сохранение. Что касается происхождения данной структуры, то она слишком сложна, чтобы ее можно было объяснить исключительно с точки зрения удачных браков (1515 г.), или конституционных причин, или же катастрофических поворотов истории (1526 г.), или даже фатальных исторических ошибок или "вероломства" феодальной системы в одной или другой стране. В конечном итоге получить Чешское и Венгерское королевства восточной ветви дома Габсбургов помогло то, что "политическое общество" региона было вынуждено признать его "оборонительный" характер, поскольку у этого общества отсутствовали даже временные возможности для экспансии и илльпозий поляков. За спиной чешского дворянства было гуситство, основная "западная" форма реакции региона на первый кризис феодализма. После "восточноевропейской" перемены в отношениях землевладельца и крестьянина гуситские традиции стали угрожать всему дворянству зловещими рецидивами. Венгерская знать, с другой стороны, должна была постоянно помнить кошмар 1514 г. и, более того, ощущать вполне реальный "нож", который "всадил ей в спину" восточный деспотизм. Но большая часть венгерского дворянства была

слишком "западной", чтобы допустить мысль о компромиссе с Оттоманской империей или же об отказе от своих феодальных свобод, коллективных политических прав и культурных традиций в самом широком смысле, то есть своей "христианской свободы" (*Christiana libertas*), как стали называть все это сложное понятие с середины XV в. Разумеется, для изменения ситуации предпринимались всевозможные попытки. Маленькой Трансильвании, например, удалось приспособиться к постоянному маневрированию под властью и с согласия султана, нуждавшегося в таком маленьком, отдаленном буферном государстве. Но подобное благоволение совершенно не распространялось на остальную часть Венгрии, где тем временем дом Габсбургов победил с помощью одного могущественного аргумента. Суть его была в том, что ежегодного дохода Короны со всего независимого Венгерского королевства хватало, как показал опыт до 1526 года, на покрытие ежегодных расходов на содержание системы пограничных замков на юге только "во время мира", а не тогда, когда грозная, единственная в Европе 100-тысячная армия султана стояла на пороге. В 1526 году и позже Габсбурги были более или менее единственной силой, от которой можно было ожидать изменения соотношения сил.

Концепция венгерской истории, тешащая себя иллюзиями, склонна упускать из виду три фактора. Первый - это то, что не битва при Мохаче исключила возможность "национальной монархии". К тому времени Венгерское королевство уже в течение полутора веков было вынуждено снова и снова искать более широкую династическую структуру с помощью персональных уний - польских, немецких, габсбургских или богемских. Даже при великом монархе - короле

Матнаше - предпринимались попытки расширить структуру путем завоеваний, в Моравии, Силезии и Австрии. Тот факт, что Буда находилась вне центров династической интеграции, являлся одной из множества потерянных исторических возможностей. Но после 1490 г. венгерское "политическое общество" само сыграло немалую роль в утрате такой возможности. Второй, фактор, который обычно забывается, состоит в том, что отношения Вена - Пожонь (Братислава) в силу отсутствия реалистической альтернативы Вене (Буда оставалась вне игры, в том числе чисто физически) в течение длительного времени были легитимны с точки зрения традиционных "западных" норм, но и развивались в соответствии с ними, включая проблемы в этих отношениях и пытавшиеся разрешить их восстания, в которых не было ничего уникального или не представленного в общеевропейской картине напряженных отношений и столкновений абсолютизма и сословий. Третий фактор заключается в том, что, хотя династия Габсбургов была далека от желания жертвовать жизнью или проливать кровь за дело освобождения Венгрии, она сыграла важную роль в предотвращении более глубокого проникновения оттоманского "клина" в страну, и даже эта двусмысленная роль стоила Вене гораздо большего, чем все те доходы, которые она могла выжать из остальной части Венгрии. Конечно, все это не противоречит тому, что ряд "плохих компромиссов", имевших столь важное значение для исторической концепции Бибо, фактически начался в 1526 г., во время трагедии, которую вряд ли можно расценить как какой бы то ни было "более успешный" компромисс или какое бы то ни было более полное освобождение от его условий. Венгерскому (так же как и чешскому)

дворянству не хватало могущества польского, но первое было гораздо более сильным, чем аристократия Пруссии-Бранденбурга. Венгерская знать приняла третью модель: неудачный компромисс, несомненно западный по характеру и ограниченный рамками династии Габсбургов.

Такая схема интеграции, действовавшая почти 400 лет, несла на себе печать особого промежуточного и даже двойственного положения между западным и восточным прототипами развивающейся системы европейских государств. Более того, столь важная граница "второго издания крепостничества" прошла и утвердилась на территории этого нового образования. Аграрная структура австрийских наследственных земель в основном по-прежнему походила на западную, и, кроме того, в двух изолированных провинциях (Тироль и Форарльберг) она привела к исключительному даже с точки зрения Запада последствию: включению представителей крестьянства в провинциальное *corpus politicum*. Государственная формула, с одной стороны, была "восточного типа", в рамках которого "имперский" характер сближал ее с русской моделью, а с другой - существенно отличалась от последней, поскольку соответствующая степень централизации империи Габсбургов в целом оставалась не более чем планом. Несмотря на династическое единство и централизацию военного и финансового управления, традиционная автономия отдельных "земель" (и даже провинций) никогда не переставала проявляться, причем в большинстве случаев с исключительной даже для Запада очевидностью. С одной стороны, ритм развития габсбургского абсолютизма демонстрировал явную близость к Западу. (Конфликты

между усиливавшимся государством и защитными силами сословий приобретали форму "религиозных войн" и звучавших то тут, то там неизбежно незрелых "национальных" лозунгов, которые были устранены только в XVII в. после действительно "абсолютистского" поворота в развитии государства.) С другой стороны, первый по-настоящему решительный поворот в этом направлении был осуществлен, по крайней мере в Чехии (1620 г.), с истинно "восточной" жестокостью. Когда продолжение в том же духе последовало в Венгрии (1670 г.), оно встретило более решительное сопротивление, чем ожидалось. В результате через полстолетия возник компромисс, который, естественно, был невозможен на Востоке и не имел аналогов на Западе. То, каким образом австрийские наследственные провинции сохранили множество признаков своей автономии и разобщенности, включая средневековые "свободы" знати, бюргерства и крестьянства, и одновременно способствовали развитию основ абсолютизма в духе безусловной преданности династии, прецедентов не имело. В то же время в XVIII в. эта "полузападная" структура особенным образом, по-восточноевропейски, взяла в свои руки дело просвещения (хотя к тому времени государство стало беспримерным оплотом папского клерикализма) и, осуществив просвещенческую программу наполовину успешно, а наполовину нет, стала после великого перелома европейской истории в 1789 г. "тюрьмой народов", точно такой же, как Россия. Решающее значение этого факта мало изменилось даже тогда, когда столетие спустя империя Габсбургов стала ареной быстрой капитализации и модернизации - и опять "полузападным" образом. Неизбежный распад этого государственного образования был обусловлен именно тем, что в

эпоху национализма оказалось слишком поздно превращать "тюрьму народов" в каркас для их свободного объединения. "Гибридность" сохранявшейся почти 400 лет структуры предопределила также, что ее распад сопровождался нарастающим хаосом, а не спадом напряженности. Данная разновидность абсолютизма по природе своей не подходила для формирования из вверенных ему народов современных наций, будь то оформленных государственных или ясно очерченных лингвистических (языковых), хотя и на Западе, и на Востоке это было одной из фундаментальных исторических задач абсолютизма (но отнюдь не означало повсюду одинаково "блестящие" результаты).

Вся история государства Габсбургов представляла собой попытку "сбалансировать небалансируемое" в условиях "зжатости" между двумя полостями Восточно-Центральной Европы - польским и прусским. Единственным стабильным структурным элементом в этой схеме, которую с любой точки зрения можно определить как неоднородную, являлась, помимо тотального преобладания династического признака, созданная Габсбургами уменьшенная - "восточно-центральноевропейская" - копия "имперской шкалы" разделения труда, обозначенного зарождающейся "мировой экономикой" в более крупном масштабе. Решающим сигналом необходимости сделать это стал Вестфальский мир 1648 г., после которого Габсбургов политически вытеснили из Западной Европы. Провал предпринятых в последующие 50 лет попыток создать в подражание Западу монополистические коммерческие компании ярко продемонстрировал отсутствие у Габсбургов шансов и в западном секторе мировой экономики. Поэтому династия Габсбургов

утвердилась в разделении труда между Западом (промышленность) и Востоком (сельское хозяйство) через экономическую структуру внутри своего собственного, восточно-центральноевропейского политического каркаса. В "гибридном" западном секторе политические предпосылки для этого обеспечивались отчасти тем, что *Hausmacht* ("дому") Габсбургов удалось сравнительно легко получить преобладание в своих собственных расчлененных "наследственных провинциях", а отчасти - тем, что эта западная династия никогда не останавливалась перед вытеснением со сцены "политического общества" провинции гораздо более радикальными методами, чем восточные монархии. После битвы у Белой Горы (1620 г.) она поступила так в Чехии, умно выбрав ту из своих "земель", которая уже в XVI в. обладала в два раза большим экономическим потенциалом и давала в два раза больше доходов, чем исконные *Erbländer* ("наследственные земли"). Уничтожив сливки чешской знати, конфисковав владения более чем половины ее представителей и "заменив" старый чешский правящий класс новой, космополитической и лояльной по отношению к династии аристократией, Габсбурги разом "убили трех зайцев". Во-первых, обеспечивалось неконтролируемое, абсолютное правление присоединенной к наследственным провинциям Чехией; во-вторых, имперская бюрократия и высшая администрация получили целый штат кадров высокого ранга, которые опять-таки не соответствовали ни западному (покупка должностей), ни восточному (служилая знать) типу и представляли собой третий вариант (не имевший национально-образующего этнического единства, характерного для первых двух); в-третьих, Габсбурги получили территорию, которую могли

превратить в комбинированную модель "второго издания крепостничества" восточного типа, но подчиненную новой аристократии и западного типа политике государственного меркантилизма в развитии промышленности. Так в течение нескольких столетий именно и главным образом в Богемии под управлением иностранной династии, с оставшейся иностранной аристократией и при все уменьшавшемся значении местной знати формировалась наиболее "буржуазная" в Восточно-Центральной Европе современная нация, причем почти неумышленно - как результат ненамеренной, косвенной "нацио-формирующей" активности габсбургского абсолютизма, который не смог консолидировать даже массу *Österreichische Erbländer* ("австрийских наследственных земель") в реальную "австрийскую нацию". Гораздо более броско и шумно вела свое существование другая нация (вполне небуржуазного характера) - венгерская, причем существовала она не столько благодаря Габсбургам, сколько вопреки им. В "габсбургском разделении труда" Венгрии была отведена "восточная" роль, отчасти по причине ее географического положения, а отчасти из-за более сильной, чем в Чехии, сословной системы. В конечном счете двусмысленная награда, завоеванная "политическим обществом" Венгрии, оказалась для нее наказанием, в то время как в Чехии наказание, последовавшее за распадом ее сословной системы, обернулось наградой.

Столь глубоко отпечатавшийся в исторических представлениях венгров образ "жестоких" Габсбургов практически заслонил собой цель этой жестокости, с которой решались все конфликты, - *компромисс между абсолютизмом и сословной системой*.

И вновь европейского образца или аналога данной ситуации не существовало. К сожалению, ни героическая борьба и кровавые реванши, ни "долгий XVII век", начавшийся в Венгрии Пятнадцатилетней войной и закончившийся Сатмарским миром (1593-1711 гг.), не оставили глубоких следов в современных структурах. Исключительную позицию по этому вопросу занимают те, кто стремится забыть, как целая половина столетия, с 1608 г. по 1670 г., стала периодом компромиссов, опять-таки беспрецедентным в Европе. Вместо этого вспоминают "разделение труда", которое помогло стабилизировать в Венгрии "восточный" тип изменений раннего нового времени (что, следовательно, в свою очередь еще больше исказило средневековые западные формы) с помощью постепенного перехода к средневековому "западному" компромиссу (который в контексте западной ситуации раннего нового времени уже был анахронизмом).

Если взглянуть на историю глазами Бибо, придется, исходя из исторических предпосылок "процесса организации демократического общества", не принимать во внимание эмоции, по своему совершенно оправданные, забыть иллюзии, сами по себе абсолютно бессмысленные, и отказаться от самодостаточного морализирования, которое приукрашивает наше понимание истории, хотя подобная позиция всегда будет возмущать сторонников эмоционального, мечтательного, морализаторского подхода к истории. Дело не в том, была ли длительная борьба против Габсбургов полна блистательных эпизодов и вообще оправдана. Глубокий взгляд на историю однозначно свидетельствует, что эти вопросы легко отделить от тех факторов, которые в длительной

исторической ретроспективе играли определяющую роль в формировании структур. Иллюзорные представления, формирующиеся после события, слишком неустойчивы для того, чтобы объединить оба подхода. Иллюзии начинаются с утверждения, что воцарение Габсбургов можно было предупредить, например, путем принятия мнимого "предложения" Сулеймана, продолжаютс заявлением о разработке в глубине антигабсбургских движений идеи своеобразного "национального абсолютизма", а завершаются выводом о том, что эти движения могли бы добиться определенной свободы для крепостных. Но, поскольку существование около 1526 г. какого-либо предложения доказано быть не может, а шансы на "более удачный" компромисс были в целом нереальными, с середины XVII в. все подобные идеи полностью сконцентрировались на монархической альтернативе, подчиненной аристократической республике польского типа. Не было ничего более далекого от мыслей венгерского дворянства, чем освобождение крестьян от "второго издания крепостничества", поскольку оно являлось жизненно важным условием его существования, независимо от строя - республиканского (Польша), абсолютистского (Пруссия и Чехия) или феодального дуалистического (Венгрия), даже если лучшие представители этого дворянства, меньшинство, реально думало, подобно Ференцу Ракоци II, над чем-либо в этом духе. Иногда сам Ракоци, сталкиваясь с законченным феодальным эгоизмом, горько жаловался. Как только борьба закончилась, нежные ростки более емкой и более обдуманной концепции социальной свободы, прораставшие то здесь, то там, были быстро обрезаны, а рост их приостановился по меньшей мере до расцвета "эпохи реформ"

(1825-1848 гг.) и последовавшей за ней "Весны народов". Движения "долгого XVII в." в Венгрии, несомненно, имели иной смысл и представляли собой нечто большее, чем современные им восстания фрондистского типа, иногда обладавшие столь же широкой социальной базой, поскольку этнически чуждая природа абсолютизма могла на время сплотить незрелый "национальный" фронт. Но структуру этих движений в Венгрии и их роль в формировании современного "национального общества" нельзя сравнивать с войной за независимость и революцией в Нидерландах, свергнувшими иго испанского абсолютизма.

Как подчеркнул Бибо, после 1526 г. венгерская история не просто зашла в "тупик". Она сразу же завязла там - в тупике, входы и выходы которого в новое время были так точно охарактеризованы самим Бибо с безжалостной прямоотой. В сущности, тупиковость ситуации заключалась в том, что обладавшая структурой "западного типа" (хотя и неполной, неэффективной и деформированной), венгерская история завязла (во время "восточно-европейского" перелома в кризисе) в "восточно-центральноевропейском" варианте решения, в принципе исключавшем государство из эффективного преодоления кризиса, будь то по ясно определенной западной, либо по явно восточной модели. С одной стороны, сложное оборонительное положение региона исключало возможность западного типа "национальной монархии", а с другой - наличие *corpus politicum* по сути своей не допускало русский вариант одностороннего подчинения имперскому абсолютизму любого типа. Деформированное политическое общество дворянства, которое упорно сохраняло феодальный полус государства, было способно время от времени с

помощью резкой активизации усилий привлекать массы, стоявшие ниже "политического тела", и ставить их под знамя "свободы страны", но оно определенно не могло модернизироваться изнутри за счет своих собственных возможностей. Обвинять его в этом не приходится, так как нигде более в Европе, кроме Нидерландов и Англии, *civilis societas* не было в состоянии осуществить подобную самомодернизацию без посторонней помощи. Таким образом, продолжал сохраняться анахронизм: в то время как Запад продвигался к национальному абсолютизму, а Восток - к имперской автократии, венгерское аристократическое общество не видело (и не могло видеть) никакой другой идеи, кроме консервации средневекового дуализма королевской власти и сословий, даже перед лицом имперской структуры и меняющихся условий, которые в конечном итоге привели к прочному, хотя и формально неполному, успеху в XVIII в. Политическая культура как таковая также увязла в безнадежном анахронизме. В то время как на Западе из общественного договора за счет власти суверена начал формироваться суверенитет народа (а из тотальной автократии на Востоке не развилось чего-либо достойного упоминания), в центре политической мысли и теории государства в Венгрии осталась "окаменелая" идея "священной короны", унаследованная от средневековья. Под влиянием Просвещения и Французской революции политическое общество совершенно особым образом продолжало, даже на сейме 1790-1791 гг. (как выразительно писал Ф.Экхардт), держать "Монтескье и Руссо в одной руке, а Трипартитум - в другой". Последний символизировал таинство "священной короны", суть которого сводилась к тому, что только представители дворянства могут быть членами мистического "тела"

королевства. Ситуация была не совсем такой, как ее оценивал Бибо, противопоставляя по существу "ложную конструкцию" Соглашения 1867 г. (*Ausgleich*) более раннему феодальному периоду, структура и проблемы которого "могут быть названы и, более того, называли сами себя тем, чем они были на самом деле". Прежде всего, сама структура запуталась в двойной лжи. Династия продолжала утверждать, что "творит добро" или стремится поступать так по отношению к своим "народам" в Венгрии, но ей мешают восстания, что, конечно, было чистым вымыслом в силу вышеупомянутого "разделения труда". С другой стороны, дворянство продолжало жаловаться на бесконечные страдания "венгерской нации" в своих встречных обвинениях, также ставших с течением времени двойной ложью, поскольку знать, говоря о нации, имела в виду только себя (что по европейским нормам становилось к тому времени чистой фальсификацией) и поскольку в любом случае она не слишком страдала. Несмотря на все это, в год взятия Бастилии замыслилось аристократическое "национальное" восстание против Иосифа II, стремившегося освободить крепостных "сверху". В то время только узкой группе интеллектуалов-йозефинистов пришлось столкнуться с трагическим противоречием венгерской истории нового времени: противоположными тенденциями национальной независимости и социального прогресса. Вообще причина достаточно долгих испытаний, выпавших на долю дворянства, заключалась в том, что компромисс с Габсбургами сохранил его статус практически ничем не ограниченного хозяина и господина принадлежавших ему крепостных, оставив в то же время в его ведении сферу, которая в силу феодальных правил игры являлась вотчиной государства.

Помимо местной, на уровне комитатов, администрации (которую дворянство сохранило после 1526 г. нормативным путем, оно получило орган центральной власти с ограниченной областью деятельности - Правительственный совет.

Венгерский вариант, в отличие от польского, мог достичь из-за более слабой сословной системы лишь частичного или кажущегося успеха; но, поскольку ее сословная система была сильнее, чем в Пруссии или Чехии, Венгрия в гораздо большей степени, чем эти земли, сама отрезала себе путь к ограниченным успехам просвещенного абсолютизма, а особенно - к неполным успехам революции "сверху". В работе "*Kelet európai kisállamok nyomorúsága*" ("Нищета малых государств Восточной Европы") И.Бибо перечислил все остальное, к чему Венгрия сама закрыла себе путь (столичный город, современный государственный аппарат, экономическая организация, политическая культура и т.п.). Как отметил Бибо в своем исследовании, Венгрия "столкнулась лицом к лицу с тем, что никто от ее имени не заложил основы современного государства и национальных учреждений, как это произошло в XVII-XVIII вв. по всей Европе", равно как никто не сформировал нацию. Разумеется, феодальному *corpus politicum* Венгрии недоставало сил выковать из исторического каркаса *nationalité d'Etat*. В то же время у венгерского *corpus politicum* было достаточно сил для поддержания вымысла, будто оно само по себе составляет *nationalité d'Etat*. На уровне сословной системы это действительно было так, но "политическое тело" оказалось слишком связанным с ней, чтобы обратить внимание на зарождение под покровом этого вымысла наций как языковых общностей или вовремя сделать из этого разумные выводы. Наиболее

очевидные и трагические последствия, которыми отозвались частичный успех дворянства и неудачный компромисс с Габсбургами в длительной временной перспективе, проявились в национальном вопросе. По сравнению с венгерским вариантом гораздо лучше было бы оказаться стертыми с карты на полтора столетия, подобно Польше, или быть на три века низведенными до статуса наследственной провинции, как Чехия. Мало кто видел столь же явно, как Иштван Бибо, какую доминирующую роль сыграли вымыслы, связанные с исторической Венгрией, в пагубных поворотах ее современной истории.

Помимо общепризнанных деформаций в структуре экономики и общества Венгрия заплатила за эту вынужденную ситуацию также "заражением" типичным "заболеванием" ментальности, что также было чрезвычайно точно диагностировано Бибо. В то же время некоторых из этих болезней приобрели столь хронический характер потому, что они вырастали не из сравнительно поздних инфекций и еще более позднего упадка сил, наступившего после прекращения в 1848-1849 гг. процесса лечения Эпохи Реформ (как считал Бибо), а из застарелых конституционных болезней. Разве не болезнью было то, что весь высший слой общества, жившего в политической структуре в принципе основанной на компромиссе (на который в конечном счете было направлено и любое восстание), в течение многих веков пребывал в заблуждении, будто он постоянно восставал и "сопротивлялся"? Это самовнушение оказалось столь сильным, что до сих пор влияет на нас. Разве не одной из болезней был усилившийся и наследуемый "властный дух" в противовес "покорности крепостных", который играл такую важную роль в

диагнозе Бибо? Эти симптомы были обусловлены не только и не столько восточноевропейской моделью, сколько - более непосредственно деформированностью структуры, основанной на компромиссе. В его рамках с трудом контролировавшиеся из центра местные структуры власти могли служить компенсацией за полное осуществление государственных функций, тогда как в других местах само абсолютистское государство начинало создавать имеющую достаточную власть структуру, служившую балансом. Другим симптомом болезни являлась, конечно, определенным образом разбалансировавшаяся и измученная депрессией противоположность этого "мятежного" самовнушения - бездеятельность *nil admirari* (полного нежелания), которую подчеркивал поэт Михаил Бабиц, безропотное подчинение, подразумевавшее, что все самые важные решения принимаются "наверху".

Однако на самом деле картина не столь безнадежна, как нарисованная выше, даже при том, что данный обзор стремится всего-навсего пролить некоторый свет на структуры, формировавшиеся в период "долгого" феодализма, и на их синхронные и асинхронные элементы. Более того, "прозападная" коррекция имела место не только в истории культуры, феномены которой в основном являются результатом умозрительных построений. С точки зрения венгерской литературы, искусства и образования соответствующего периода Лита никогда не превращалась в границу; их ориентация не испытывала влияния габсбургского каркаса и, выходя за его рамки, становилась органической частью жизни *Europa Occidens* ("в более простом контексте и провинциально по характеру", как писал Бибо). Но для того, чтобы убедиться в том, насколько далека была "высокая

культура" сама по себе от такой коррекции, достаточно обратиться к величайшей, возможно, литературе XIX в., - русской, не исправившей ничего в современной ей структуре России даже в малом, в то время как "восточно-европейский" поворот Венгрии, хотя и деформировавший структуры, не смог убрать из них организующие принципы права и свободы. В этом смысле вопрос заключался не в интерпретации дворянством этих понятий или в их обесценивании, которое, превращаясь к тому времени в анахронизм, могло возыметь обратное действие. В любом случае какое бы то ни было обесценивание этих понятий не могло быть настолько сильным, чтобы вполне разрушить унаследованные от средневековья структуры "малых ареалов свободы". С этой точки зрения габсбургский абсолютизм был не более жестким, чем абсолютизм в любом западном государстве. Более того, в слегка модернизированном продолжении средневекового дуализма королевской власти и сословий была определенная внутренняя логика, например, в том, что никем не опаривались основные принципы свободы городов, контролировавшихся государством и управлявшихся местной властью. Все-таки важнее (поскольку это касалось более чем 9/10 населения страны) то, что даже условия жизни крестьянства не полностью соответствовали Трипартитуму Вербечи при том лишении гражданских прав, которое следовало из статуса *perpetua rusticitas* (вечного прикрепления к земле). Это менее демонстративное, скрытое, но твердое и упорное сопротивление, с которым остатки крестьянских "прав и свобод" на глубинном народном уровне деревенских общин выступали против гнета "второго издания крепостничества", имело гораздо большее значение, чем вооруженное

сопротивление знати. Недавние исследования проливают все больше света на множество способов, с помощью которых свобода передвижения крестьян и их личные и общинные права ("обычай") высвобождались в Венгрии из тисков "второго издания крепостничества". Как представляется, это осуществлялось гораздо более разнообразными способами, чем на польских, чешских или германских территориях за Эльбой. Другим интересным с точки зрения хронологии открытием является тот факт, что тиски, сжимавшие крестьянство, стали еще туже в XVIII в., когда был достигнут надежный компромисс между правителем и сословиями.

Структуры западного типа, хотя и в искаженном виде, проявились в Венгрии, и это помогает нам понять, как ее сильная сословная система могла исключить страну из сыницированных государством "сверху" реформ рубежа XVIII-XIX вв., причем сделать это гораздо более основательно, чем в Австрии, Чехии и Пруссии. Однако, менее чем через четверть века лучшая часть знати оказалась готовой к обновлению, что заставило ее взять в свои руки дело реформ, а затем революции "снизу", тем самым открыв, возможно, наиболее "европейский" период в истории Венгрии - "величайшую попытку вернуться к магистральному пути развития Запада" (Бибо). И, поскольку именно этот момент стал для Бибо тем исходным пунктом, начав с которого он детально и очень наглядно описал надежды и новые тупики исторического развития (можно сказать, дальнейшее деформирование Венгрии в тисках "восточно-центральноевропейской" модели), представляется уместным закончить на этом настоящий обзор.

Следует ли что-либо из истории? Следует, и многое, но в форме, определенной Бибо следующим образом: "Я не верю в стопроцентную необходимость в истории, я верю в то, что внутри важнейших контуров существует большее или меньшее число возможностей, которые могут быть использованы или упущены".

В любом случае, результаты осуществления этих возможностей редко одинаковы и, как правило, далеки от однозначности. Достаточно вспомнить реформистскую концепцию Иштвана Бибо и Ференца Эрдеи, касающуюся управления центром комитата, выступающим в качестве своеобразной модели: торговый город Великой равнины как архимедова точка в плане демократического реформирования государственного управления снизу. Был ли торговый город Великой равнины образованием "западного" типа? С точки зрения генезиса он со своими коммунальными свободами и самоуправлением несомненно являлся "восточно-центральноевропейским" вариантом такого образования, хотя без особой широты и терпимости финансовой политики султана он не мог бы выжить и успешно сохраниться в критический период раннего нового времени. Если аграрные города не имели статуса *khas* (хас - владения, принадлежавшие султанской казне), а оставались на уровне "восточно-центральноевропейского" *oppidum* (города) раннего нового времени, землевладельцы безусловно должны были стремиться к сохранению жесткого контроля над такими городами, как это и происходило в габсбургской Венгрии, где городов такого

типа вообще не было. Эти потенциальные базовые модели современного демократического управления сохранились только в находившейся под турецким управлением части Венгрии, и таким образом Османская империя платила своеобразную компенсацию за произведенные ею экономические, культурные и этнические разрушения. Такие парадоксальные результаты иногда встречаются. Можно вспомнить также о Балканах, где турецкое завоевание на несколько веков остановило возможности автохтонного развития и деформировало социальные структуры, но в то же время обеспечило уничтожение в класса крупных землевладельцев в Греции, Болгарии, Сербии и Боснии задолго до их освобождения в XIX в. Поскольку потомственная аристократия не могла формироваться при османской системе землевладения, из ее недр неожиданно появились общества мелких крестьян, при том что Восточно-Центральная Европа в это время все еще страдала под гнетом *latifundia*. И если иметь в виду, что во всей Юго-Восточной Европе только в двух наименее зависимых румынских княжествах сохранился слой бояр и "фанариотов" и, таким образом, реализовывался местный вариант "второго издания крепостничества", то едва ли можно отрицать особую и парадоксальную взаимозависимость истории и демократических возможностей.

"Восточно-центральноевропейский" характер венгерской истории представляет собой особую формулу, поскольку объединяет два момента: с одной стороны, "восточноевропейский" поворот Венгрии в раннее Новое время усилил деформацию и несбалансированность экономической и социальной структуры в чрезвычайно высокой степени по сравнению с западной формулой, а с

другой, - такой поворот не смог уничтожить "западные" элементы этой структуры. Таким образом, следствием этой формулы были (используя ключевые понятия Бибо) в равной степени "дурная обусловленность" и воспроизведение "властного духа", "покорности крепостных", а также склонность к "ложным построениям" и сохранению "состояния неподвижности", поскольку "механизм страха" взял верх над "механизмом смысла", хотя та же самая формула включала и элементы, которые при благоприятных условиях могли бы стать пригодными для "движения к большей свободе". По мнению Бибо, 1945 год стал историческим поворотным пунктом, поскольку он поставил задачу смены курса, имевшего более реальный шанс, чем когда-либо с 1500 г., даже чем в 1825-1849 или 1918-1919 гг., но с той особенностью, что становившийся в предыдущую историческую эпоху все более безнадежным тупик предопределил отсутствие в обществе каких бы то ни было приготовлений к этому повороту и, следовательно, отсутствие того "непреодолимого динамизма", который является основной чертой действительно революционных ситуаций.

Когда задача была поставлена, едва ли кто-нибудь еще, кроме Бибо, понимал столь же ясно как историческое наследие с его двойственным характером, так и современную ситуацию с ее собственной особой двойственностью. Доминирующей во всем творчестве Бибо была мысль о том, что одна сторона двойственности требует революционного преобразования структуры, ценность которой, однако, определяется уровнем развития демократии, обеспечивающей другую сторону двойственности. Одно без другого тем или иным образом приводит к возврату "неправильных"

исторических условий. Теоретический парадокс исторической и политической концепции Бибо - то, что революция и демократия идут рука об руку при том, что первая теоретически является предпосылкой второй. Но в контексте реальной политики он с ответственностью аналитика смело встретил следующий факт: в то время как два крайних региона Европы осуществили собственные революции (Запад в XVI-XVIII вв., Восток - в XX в.), расположенный между ними ареал, включая Венгрию, пережил лишь неудачные и неполные революции, а также частично удавшиеся революции "сверху". В 1945 г. возможность революции и демократии также исходила не "из низов", а извне. Хотя И.Бибо никогда не формулировал это подобным образом, историческая дилемма, которую он пытался разрешить как на уровне теории, так и на уровне практических предложений, заключалась в следующем: как в ситуации, в силу исторических причин включившей в повестку дня необходимость и возможность "революции сверху" в ее социалистическом варианте, поставить процессы под контроль демократии "снизу" и заставить ее развиваться в этом направлении. "Революция сверху" была необходимостью, обусловленной "восточноевропейской" средой, в то время как демократия "снизу" представляла собой шанс, который давали элементы "западного типа" - теоретически вполне последовательная "восточно-центральноевропейская" модель.

У этой модели было по меньшей мере три важных предпосылки с точки зрения необходимости, отсутствия необходимости и возможности. Первая - необходимость - заключалась в том, что социалистическая революция являлась, по словам Бибо, "великой исторической попыткой выйти из тупика

восточного социального развития" и "дальнейшей корректировкой и дополнением" процесса полного освобождения человечества. Вторая состояла в том, что не было необходимости соединять эту "восточную" потребность с исторически унаследованными восточноевропейскими методами осуществления власти и бюрократией или "пренебрегать" западными методами реализации свободы, особенно если существовали определенные внутренние исторические и структурные предпосылки складывания объективных методов демократии. Третья - то, что "революция человеческого достоинства" являет собой абсолютную предпосылку демократии, так как в ее рамках люди могут использовать силу демократии, имеют шанс выбирать и контролировать своих лидеров, смещать их при необходимости и осознавать через непосредственный опыт, что общественные проблемы это и их личные проблемы. Шанс для этого дает решительное создание и институциональное оформление административной основы самоуправляющегося государства и переход к функционированию государственной структуры "снизу вверх" - в соответствии с предложенной Бибо программой реформы. Именно таким образом революция "сверху" могла быть направлена "снизу".

Было бы сложно ставить под вопрос внутреннюю историческую логику этой модели. Другое дело, что можно вполне справедливо сомневаться в соответствии выдвинутой Бибо в 1945 г. программы "ограниченной и планируемой революции" реальной ситуации. Но он не стремился выступать в качестве теоретика, способного предложить решение всех вопросов. Реалистичность программы была поставлена под вопрос, помимо многих других фактов, также и тем, что среди политических деятелей страны того

времени она считалась слишком левой и "революционной" для правых и слишком правой, слишком "буржуазной" и "популистской" для левых. Она не могла также стать программой самостоятельной популистской партии и не вызвала откликов со стороны центристских партий. Но даже недостаток массовой поддержки не является безусловным доказательством нереалистичности программы, поскольку поддержку можно оценить только при более четком определении массовой базы путем развития институтов и "объективных методов" демократии. Несправедливо считать нереализованные исторические шансы "нереалистичными" только потому, что они не были осуществлены. Можно оспаривать и другие пункты программы, и, естественно, лучшим партнером в этом был бы сам Иштван Бибо - ведь если в его идеологии что-то и отсутствовало, так это убеждение в ее тотальности. В совершенно изменившихся условиях о творчестве Бибо можно сказать так: хотя почти все его конкретные предложения устарели, его исторический и злободневный политический анализ полностью сохранил свою актуальность. Основная идея Бибо, которую он излагал не раз, также осталась актуальной: предоставляемые действительностью шансы не всегда неизбежно реализуются - это зависит от усилий и доброй воли.

Примечания

Настоящая работа начинается со ссылки на умершего в 1979 г. Иштвана Бибо, возвращается при рассмотрении различных вопросов в сфере его идей и возвращается к его мыслям в завершение - это не

просто соответствующая случаю форма или нечто, необходимое в беседе in tempore. У многих был свой взгляд на историческое и региональное положение Венгрии, но едва ли кто-то еще обладал столь цельной системой мышления, до такой степени обусловленной этим положением, как Бибо. Сама по себе его концепция может служить для историка достаточным стимулом ее дальнейшей разработки именно с точки зрения тех аспектов, с помощью которых поздний Бибо, теоретик права и политический мыслитель, пытался дать региональные характеристики венгерской истории, определив отношения государства и общества. Конечно, в этом смысле данная статья очень конкретна, ведь можно было выбрать другой принцип ее организации. Что же касается формы, статья действительно не более (а в заданных рамках и не могла быть более) чем то, что указано в названии, то есть обзор.

Названные обстоятельства обусловили также форму ссылок. Стилю и сути статьи едва ли пристало бы перегружать текст обширными библиографическими экскурсами или же подтверждать документально каждую ссылку. Широта предмета неизбежно сделала подобную попытку субъективно избирательной и не преследующей узко-конкретные цели, так как автор обращал особое внимание не на детали, а на их место в определенной системе координат. Таким образом, я не буду подробно останавливаться на характеристике всех нюансов европейской или венгерской истории, упомянутых в тексте, - их можно найти в любом учебнике. Здесь я укажу лишь целенаправленно отобранную группу работ, оказавших решающее влияние на формирование моих взглядов по поводу основных аспектов проблемы.

С идеями Иштвана Бибо, опирающимися на обширные и глубокие представления о современной истории, можно познакомиться в двух крупных трудах: Bibo, "A kelet-európai kisállamok nyugomósága" ("Нищета малых государств Восточной Европы"), особенно в главе "A politikai kultúra deformálódása" ("Деформация политической культуры"), Budapest, 1946, и "Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem" ("Деформированная венгерская структура, полная тупиков венгерская история"), Válasz, 1948/8, 289-319. В наиболее концентрированном виде концепция Бибо представлена в: "A magyar társadalom fejlődése es az 1945. évi változás értelme" ("Развитие венгерского общества и значение перемен 1945 г."), Válasz, 1947/7, P.493-504. Разумеется, в других работах Бибо (включая еще неопубликованные) также встречаются более или менее пространственные рассуждения об интересующей нас проблеме.

О концептуальной базе см.: Gollwitzer H. "Zur Wortgeschichte und Sinndeutung von "Europa"". Saeculum 1956/2, S. 161-172; Barraclough G. "Die Einheit Europas im Mittelalter". Die Welt als Geschichte 1951/11, S. 97-122.

Важнейшими работами, посвященными первой аграрной революции, ее демографическим и социальным аспектам, являются: Duby G. L'Économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident Médiéval. 2 vols., Paris, 1962 и Slicher van Bath B.H., The Agrarian History of Western Europe, 500-1850. New York, 1963.

"Внешняя" и "внутренняя" экспансия Запада была емко охарактеризована в: Le Goff J. La Civilisation de l'Occident Médiéval. Paris. P.87, а также в другой работе Ле Гоффа: Das Hochmittelalter, (Fischer Weltgeschichte, 11). Frankfurt/Main, 1965. О

"пребендальных" структурах см.: Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen, 1976. S. 558, 601 ff. Об основных тенденциях развития политической мысли, начиная со св.Августина, см.: Chroust A.H. "The Corporate Idea and the Body Politic in the Middle Ages". *Review of Politics*, 1947/9, P.423-452, и Ladner G.B. "Aspects of Medieval Thought on Church and State". *Ibid.* P. 403-422. По поводу контрактной природы вассальной зависимости и феодального церемониала см.: Bloch M. *La Société féodale. La Formation des liens de dépendance*. Paris, 1939, P.350-3, 357. Отношение феодальной провинции к правовым проблемам освещалось в: Brunner O. *Land und Herrschaft*. Brunn-Munich-Wien, 1942, особенно: S.124 ff., 186-268. О "нисходящей" и "восходящей" тенденциях развития права и управления см.: Ullmann W. *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*. London, 1961. О разработке различных аспектов идеи "договора" см.: Kern F. *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im Früheren Mittelalter*. Leipzig, 1914. S.251 ff. Истоки тройственного "функционального" деления общества рассмотрены в: Duby G. *Les Trois Ordres ou l'imaginaire du féodalisme*. Paris. 1978. Цитату из Юбера де Ножана см. в: Le Goff. *Op.cit.* P.79. О концепции "второго периода феодализма" см. Bloch M. *Op.cit.* P.164 и Le Goff. *Op.cit.* P.14-18. По поводу начального периода трансформации политической мысли см. Kantorowicz F.H. *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*. Princeton, N.J., 1957. По-прежнему значимой остается посвященная истокам средневековой теории права работа Gierke O. *Die Staats- und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters. Das deutsche Genossenschaftsrecht*. Bd.III. Berlin, 1881. Новейшим исследованием развития теории государства является Struve T. *Die*

Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter. Stuttgart, 1978. Различные аспекты "освобождения" личности затрагивались в: Ullmann W. The Individual and Society in the Middle Ages. Baltimore, 1966. Отдельные вопросы теории государства были проанализированы в: Post G. Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322. Princeton, N.J., 1964. По поводу понятия "общество" см. Eschmann T. Studies on the Notion of Society in St. Thomas Aquinas. Mediaval Studies, 8, 1946; Schmolz Fr.M. Societas civilis sive Respublica sive Populus. Österr. Zeitschrift für Öffentliches Recht. 14. 1964. О принципах "представительства" см. Gierke. Op.cit. S.222 ff. Проблемы суверенитета освещались в Wilks M. The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. Cambridge, 1963. О технической революции см. Endrei W. A középkor technikai forradalma. ("Техническая революция в средние века") Budapest, 1978 (использована цитата со с. 85).

По поводу приведенной типологии государственного развития см. Mayer Th. Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter. Historische Zeitschrift 159. 1939. S.462-4. О месте ранневенгерского государства в этой типологии см. Szücs J. König Stephan in der Sicht der modernen ungarischen Geschichtsforschung. Südost-Forschungen. 31. 1972. S.17-40. Параллели с эпохой Меровингов уже проводились в: Váczy P. Die erste Epoche Des ungarischen Königiums. Budapest, 1935. По поводу "русских" параллелей см. Szeftel M. Aspects of Russian Feudalism. В кн. Coulborn R. (ed.) Feudalism in History. Princeton, 1956. Круг вопросов, связанных с "оригинальными характеристиками" Восточной Европы, был рассмотрен в: Makkai L. Les Caractères originaux de l'histoire économique

et sociale de l'Europe orientale pendant le Moyen Age. Acta Historica Academiae Scient. Hung. 16. 1970. P.263-292. Об идее "государственного крепостничества" см.: Modzelewski K. The System of the Ius Ducale and the Idea of Feudalism. Quaestiones Medii Aevi I. 1977. P.71-99. Структурные изменения после 1200 г., в частности в развитии городов, анализировались в Fügedi E. Die Entstehung des Städtewesens in Ungarn. Alba Regia. 10. 1969. S.101-118, в крестьянском обществе - в Szücs J. Megosztott parasztág - egységesülő jobbágyság. ("Раздробленное крестьянство - объединяющее крепостничество") Századok. 115. 1981, а в эволюции дворянства - в Mályusz E. A magyar köznemesség kialakulása. ("Формирование венгерского низшего дворянства"), Századok. 76. 1942. S.272-305, 407-434. О приведенных в качестве примеров деталях и о собраниях конца XIII в. подробнее см. в: Kiss E.S. A királyi generális kongregáció kialakulásának történetéhez. ("К истории образования Королевской Генеральной конгрегации"), Acta Historica Univ.Szegediensis. 39. Szeged, 1971. По поводу "контрактных" соглашений в крестьянской среде см. Szücs J. Op.cit. S.296-310. Проблема вассальной зависимости в Венгрии освещалась в Mályusz E. A magyar társadalom a Hunyadiak korában. ("Венгерское общество в эпоху Хуньяди") в: Mátyás Emlékkönyv I. Budapest. S.309-433; Bonis Gy. Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. (Вассалитет и сословия в венгерском средневековом праве) Kolozsvár, 1944. О проблеме представительства см. Holub J. La Représentation politique en Hongrie au Moyen Age. X Congrès International des Sciences Historiques. Rome, 1955. Études. Louvain-Paris, 1958. P.79-121 и того же автора "Quod omnes tangit..." Revue historique de Droit Francais et Étranger. 4/29. 1951.

P.97-102. О пропорциональном соотношении дворянства и буржуазии см. Szabó I. Magyarország népessége az 1330-as és az 1526-os évek között ("Население Венгрии в 1330-1526 гг.") в Kovácsics J. (ed.) Magyarország történeti demografiája (Историческая демография Венгрии) Budapest, 1963, S.88-98 и в Польше Gorski K. Les Structures sociales de la noblesse polonaise au Moyen Ages. Le Moyen Age. 58. 1967. P.73-85.

Ряд кризисов XIV в. (который можно рассматривать как "первый кризис" феодализма) был впервые охарактеризован в Perroy E. A l'Origine d'une économie contractée: Les Crises du XIV siècle. Annales E.S.C. 4. 1949. P.167-182. Материалы прошедших с тех пор дискуссий по данной проблеме (в том числе мнения таких авторов, как R.H.Hilton, E.A. Косминский, M.M.Postan и F.Lütge) составили не один том. Удачно составленный обзор этих материалов можно найти в Genicot L. Crisis: From the Middle Ages to Modern times. Cambridge Economic History of Europe. Vol.1. London- New York, 1966. P.660-741. В тексте статьи были упомянуты следующие работы: Wallerstein I. The Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York - San Francisco - London. 1974; Anderson P. Lineages of the Absolutist State. London, 1974. Обдумывая данную статью, я активно использовал в качестве стимула представленный в обеих анализ (в частности, размышления о природе и региональных типах абсолютизма в последней). Цитата из Маркса о соотношении государства и свободы взята из "Критики Готской программы". О деформации западных структур в период позднего средневековья см. MacFarlane K.B. Bastard Feudalism. Bulletin of the Institute of Historical Research. 20. 1945. P.161-181. Тот факт, что именно города первыми вышли из

кризиса, был отмечен в DUBY G. Les Sociétés médiévales: Un Approche d'ensemble. Annales E.S.C. 26. 1971. P.10-42. Проблема "русской мировой экономики" рассматривалась в Wallerstein I. Op.cit. P.302-324. Характеристика восточно-центрально-европейского поворота в развитии событий дана в: Klima A., Macurek J. La Question de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe centrale (16-17 siècle). International Congress of Historical Sciences. Stockholm 1960. Rapports IV. Goteborg, 1960. P.84-105; Betts R.R. La Société dans l'Europe centrale et dans l'Europe occidentale. Revue d'histoire comparée. 7. 1948. P.167-183. О Венгрии см. Pach Zs.P. Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII.században ("Аграрное развитие Западной Европы и Венгрии в XV-XVII вв."), Budapest, 1963. По поводу "сравнительной" природы абсолютизма в странах Восточной Европы см.: Anderson P. Op.cit. P.212-220 (в статье приведена цитата со с. 195). Взаимное соотношение абсолютизма и экономического развития рассматривалось в Dobb M. Studies in the Development of Capitalism. London, 1946. Некоторые мнения, высказанные в ходе дебатов по данному вопросу, приведены в Sweezy P. The Transition from Feudalism to Capitalism. Science and Society. 14. 1950. P.134-157; ответ Добба - *ibid*, pp.157-167, а статья С.Хилла (C.Hill) с тем же заголовком - в Science and Society. 17. 1953. Эти дебаты время от времени возобновляются, в частности - в журналах "Science and Society" и "Past and Present". О природе абсолютизма см. Kiernan V.G. State and Nation in Western Europe. Past and Present. 31. 1965. P.20-38; Molnar E. Les Fondements économiques et sociaux de l'absolutisme. XII Congrès International des Sciences Historiques. Rapports IV. Vienna, 1965. P.155-169. Более ранний очерк проблемы представлен в Hartung F., Mousnier

R. Queques problems concernant la monarchie absolute. Relazioni del X Congresso Internazionale di Science Storiche IV. Florence, 1955. P.1-55; Mousnier F. Les XVI et XVII siècles. (Histoire Générale des Civilisations. IV) Paris, 1954. О развитии России см. Lowmianński H. The Russian Peasantry. Past and Present. 26. 1963. P.102-109; Smith R.E.F. The Enserfment of the Russian Peasantry. London - New York, 1968. По поводу форм землевладения см. Vernadsky G. Feudalism in Russia. Speculum. 14. 1939. P.300-323. Развитие абсолютизма в целом было рассмотрено тем же автором в Tsardom of Muscovy. 1547-1682. (A History of Russia. V) New Haven, Conn., 1969 и в Anderson P. Op.cit. P.328-360. Общую характеристику четырех механизмов реализации абсолютизма и "этатизма" см. в: Wallerstein I. Op.cit. P.136-148. О развитии Польши см. Topolski J. La Régression économique en Pologne. Acta Poloniae Historica 7, 1962. P.28-49; Malovist M. Poland, Russia and Western Trade in the 15th and 16th Centuries. Past and Present 13. 1958. P. 26-39 и в работе того же автора Über die Frage der Handelspolitik des Adels in den Ostseeländern. Hansische Geschichtsblätter 75. 1957. S.29-47; Kula W. Un economia agraria senza accumulazione: La Polonia dei secoli XVI-XVIII. Studi Storici 3/4. 1968. P.612-636. О развитии Пруссии см. Rosenberg H. Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Experience, 1660-1815. Cambridge, Mass. 1966. Основные сведения по развитию габсбургской имперской структуры и Венгрии хорошо известны читателям, и в данном случае я не собираюсь углубляться в детали последних дискуссий между венгерскими историками, оставшихся открытыми или еще только завязывающихся. Объективный и взвешенный анализ подъемов и спадов развития до битвы у Мохача был дан в Kosáry D. Magyar külpolitika Mohács előtt.

("Внешняя политика Венгрии до Мохача"), Budapest, 1978. В настоящей статье приведена цитата из Eckhart F. A szentkorona-eszme története. ("История концепции "священной короны"), Budapest, 1941, S.254. Эта концепция проанализирована в Babits M. A magyar jellemről. ("О венгерском характере") в Szekfű Gy. (ed.) Mi a magyar? ("Кто такие венгры?") Budapest, 1939, S.52. Большое количество материала о сохранении крестьянских "свобод" содержится в Varga J. Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 1556-1767 ("Крепостная система в последние столетия венгерского феодализма, 1556-1767 гг."), Budapest, 1969. Идеи Иштвана Бибо по поводу реформы управления сохранились главным образом в рукописях, в частности, в Társadalmi reform és közigazgatás ("Социальная реформа и управление"), которая представляет собой обширный труд, рассматривающий также и исторические прообразы этого процесса. Краткий очерк дан в A magyar közigazgatásról ("О гражданской администрации в Венгрии"), Városi Szemle. 33. 1947. S.285-294.

Перевод М.Бобрович

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОН

Ответственный редактор А.И.Миллер

ИР № 020935 от 9 ноября 1994 г.

Подписано в печать 20.11.95 г. Зак. 381. Тир. 300.
Печ. листов 16,75. Формат 60×90 1/16.

Типография ИПТК «Логос» ВОС
129164 Москва, ул. Маломосковская, 8

